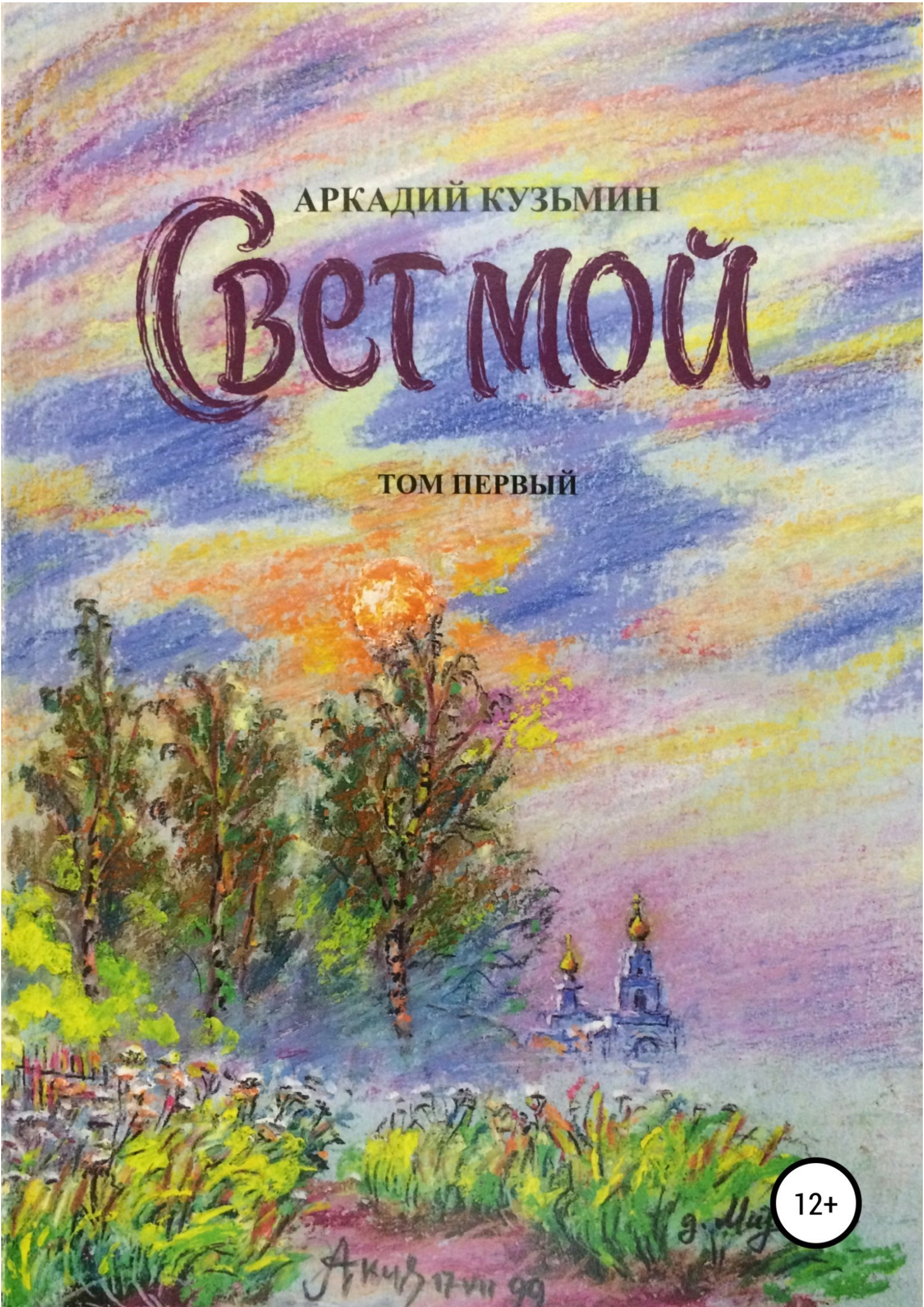


АРКАДИЙ КУЗЬМИН

Свет мой

ТОМ ПЕРВЫЙ



12+

Аркадий Кузьмин 99

г. Мил

Аркадий Кузьмин

Свет мой. Том 1

«ЛитРес: Самиздат»

2016

Кузьмин А. А.

Свет мой. Том 1 / А. А. Кузьмин — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Роман "Свет мой" в четырех томах - это художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, отразившихся в судьбах рядовых героев романа. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941-1945 годы, во время перестройки и разрушения СССР. Они жили, любили, бились с врагом и в блокадном Ленинграде, и в Сталинграде, и в оккупированном Ржеве. В послевоенное время герои романа, в которых - ни в одном - нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и дружили. Пройдя весь XX век, каждый из них задается вопросом о своем предназначении и своей роли в судьбах близких ему людей.

© Кузьмин А. А., 2016

© ЛитРес: Самиздат, 2016

ТОМ ПЕРВЫЙ

*И что бы было,
если бы не было истории этой*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Славно балерина разлетелась, танцевала в Мариинке.

Случай – совести укор незванный. Кашин вспомнил вдруг благой блеск театра, света, музыки и стольких лиц и глаз людских вокруг – в тот апрельский вечер театральный он, матрос, здесь чудно встретился с юной Оленькой, увидел и встретил ее робко-ангельский, незащищенный взгляд. Было чистое везение.

Но сейчас же (как назло) и восстал уж докучный, с неизменным вздохом, голос его жены, Любы, – она вошла в комнату с неотложным монологом:

– Ой, что с нами происходит? В двадцать первый-то век... И что с нами будет? Ой! Дите мое бедное! Мир у вас, мужчин, совсем сдурел, свихнулся. Спасу нет! Нет ни капельки любви, сочувствия к тебе, живой; правят всюду деньги, торгаши, разбой; ты сама-то, душа-душенька, изволь, майся, кайся, поднимайся, тащи воз, стожильная. Моги! И терпи! – В сердцах, кинув газету на столик, она повернулась и вышла опять из комнаты.

Да, быть текуча и надменна. Вот и ныне у нас фарисеи, деля между собой пирог, извернули живьем, с корнями, пласт самосея миллионов жизней человеческих и навязали всем (в угоду политвыверта) постыдно нескончаемый, неприемлемый абсурд существования.

А тогда-то оба молодых друга, Антон Кашин и Ефим Иливицкий, жившие, к счастью, надеждой, в броских бело-синих матросских фланельках и тельняшках, чудесно смотрели в Мариинке балет «Лебединое озеро».

– Ну, восторг – танцовщицы несравненные! – восхищался ревностно Ефим, истый меломан, трубивший тоже в Балтийском Экипаже третий год (из пяти положенных лет). – Можно потерять покой и сон. От зависти. Согласись, максималист. Или равнодушен ты? – Имел слабость рослый, импульсивный Фима, одессит: бывал он неумно говорлив, обеспокоен творчески; в душе он не мирился с тем положением, что на службе мог лишь урывками набрасывать – компоновать свои иллюстрации книжные, а не занимался полностью только ими.

– Блажен, кто верует, Фима. – Антон успокаивал. Ведь он и сам был одержим страстью рисовать и живописать натуру бесконечно. Но, увы, как известно, на военной службе всякие личные желания безоговорочно отменялись прочь, что несусветная блажь; для начальства мерю во всем служили приказное право и негласный завет: спаси и охрани нас от гениев! От пристрастий их.

Театр благостно возвышал дух у его поклонников самой атмосферой движения и ожидания чего-то дивного. И, естественно, когда друзья оказались на великолепном втором ярусе, сбоку бывшей царской ложи, и заняли перворядные кресла, а Ефим еще щегольски, подсел к молоденькой брюнетки, он с еще большим воодушевлением, явно рисуясь теперь перед девушкой, начал вполголоса расхваливать Антону балетные мелодии Чайковского. О, он в упоении слушал их на днях – лицезрел сей балет – вон оттуда, с высоты галерки!.. И теперь, значит, вновь он сможет насладиться спектаклем...

Он, не останавливаясь, дальше говорил, довольный.

И тут-то Антон будто бы услышал чей-то кротко-милый призыв, ниспосланный сверху ложи и будто бы предназначавшийся ему одному. Оттого он инстинктивно глянул вверх и

мигом, видя, что оттуда уже вилась, спускаясь, какая-то тонкая блеска, наклонился вперед, к бортику серо-зеленой атласной ложи, и подставил ладонь. И поймал-таки эту бумажную полоску – поймал в почти мальчишеском азарте: «Чур, моя, раз успел и играю тоже наудачу»... Однако дальше, к его огорчению, не последовало ничего; ни слов, ни звуков никаких не послышалось.

«Подожди...» – вроде бы сказало в его уме. И были странные слова: «Помнишь, голубь, облетев круг, вернулся к тебе?» Что, очевидное самонапоминание о чем-то более серьезно-важном, о чем нельзя, ни за что нельзя забыть никогда?

И каков же в сущности был их прямой теперешний смысл?

Именно об этом Антон и раздумался, сидя еще внаклонку, поставив локти на балкон и подперев голову руками, и позабыв, знать, обо всем на свете; и как-то отстраненно глядел на оживленно роящиеся анфилады зрительских мест, пока длилась неизвестность. Пока меркли в зале светильники и строгий человек, появившись там, внизу, стал над освещенным пюпитром и повел воздетыми руками, и пока оттуда стали восходить просыпавшиеся звуки оркестра.

– Ах, да! Виноват... – точно очнулся Антон, невольно обернувшись, оттого что его во второй, показалось, раз настойчиво тронул за плечо молодой бородач, располагавшийся позади него вместе с тихой уютной дамой, очень любимой им, судя по всему. Этот мужчина (с божьими искорками в глазах) строго-вежливо лишь попросил его сесть прямее в кресле, чтобы им было лучше видеть сцену. И Антон, извинившись, откинулся на спинку кресла поудобней и продолжил то, что слушал, ждал, смотрел вперед – на танцующих и, главное, думал обо всем возможном и неподвластном человеческому разуму.

В том числе и сожалеючи (от досадного свободомыслия) подумал он о своем учителе ржевском – маститом, ярком живописце Пчелкине Павле Васильевиче, пропойце-философе (позади сидящий зритель бородастый внешне чем-то походил на него). Так, Павел Васильевич писал Антону в треугольно сложенном письме – на манер солдатских писем, посылаемых в военные дни: «А сегодня был туман. Встал я рано. Посмотрел на Мир, на краски Мира. Хорошо! Пошел за рыбой. Да в рыбе ли дело? Общение с природой... В лес! На Волгу! Ложно, но свободен! Свободен, но ложно». До чего же это он гениально-просто высказал – проще, откровенней и не выскажешь. Потому и сразу зримей вставал – светился в глазах родной ситцевый край верховья Волги – обездоленный, гордый; здесь, где жесточайше, многомесячно бились недавно наши бойцы с немцами, и рыбачил Павел Васильевич, и Антон самолично ходил-исхаживал, бывало, километры с этюдником на плече.

И будто виделось ему мысленно, как один занятно-неказистый старичок (где-то он его видел) сидел под обветренным дубком и самодовольно, глядя пристально, покачивал на него косматой головой.

II

– Да, не нам, не нам, художничкам, чета...

В театре все происходило чередом своим. Обычным. Воссияли вновь светильники – настало время перерыва. Балерины пораскланялись. И большой зал зашумел, задвигался спешно-суетно. Неожиданно, однако, Кашин опять – и вполне явственно (что за наваждение – искус?) услышал этот узнаваемый тоненький девичий голосок, пугливый, торопливый, позвавший опять сверху ложи:

– Мила! Мила, эй! Я жду!

– Иду, Оленька! Иду! – Отозвалась юркая вишневая соседка Фимы. Заспешила к выходу. Отчего Антон беспамятно, ошалело веселея, в смелом нетерпении обратился прямо к ней:

– Мила, можно с Вами познакомиться?.. Я – Антон, а мой друг – Ефим... И еще, пожалуйста: прошу познакомиться также нас и с подружкой Вашей... Она, должно быть, эту бле-

сточку, – разжал он свою ладонь, – спустила к Вам на балкон посланием, да я поймал, винюсь... – Причем он, неловко повернувшись и задев, чуть ли не толкнул бородатого соседа, степенно выходявшего из-за кресла; тот лишь понимающе улыбкой извинил его, служивого, младшего собрата, за торопливость вожделенную, когда, кажется, секунды могут многое решить в твоей судьбе.

Мила на мгновение запнулась и зарделась, а затем, все же смилостивившись, позвала их с собой; Ефим уже спешил за нею храбрым петушком – пытался завязать с ней учтивый разговор. И она на ходу, отвечая ему, сказала, что она и Оля попали врозь сюда потому, что билеты купили с рук у входа – пришлось: намеченный план их нарушил непредвиденный тетушкин приезд из Москвы. Отчасти инквизиторский...

– О-о, скажу Вам, Мила: у меня также тетя есть – истинная ленинградка, блокадница, – зачем-то похвастался Ефим. – Книгопечатница она.

– Интересно как... Книгопечатание... Романы... Люблю читать.

– Да, мы, знаете, только что, в минувшую субботу, чаевничали у нее, иззябшиеся – бр-р-р! – после того как зарисовывали половодье в Ботаническом саду. И отогревались, значит... – Он вовремя умолк.

Мила подвела их, красавцев, к нежно-хрупкой русоволосой, в розовом наряде, девушке, стоявшей в фойе:

– Вот – знакомьтесь: Оленька. – И сказала сразу ей: – Ты не хмурься, хорошо? Они упростили меня, – объяснила ей нехотя и тоном ровно старшенькой сестры, окончившей уже школу. – А я сегодня никакусенькая...

На миг Оленька и Антон испуганно встретились взглядами и словно бы в замешательстве отдернули глаза друг от друга. И он в великом смущении от того, на что решился, увидав ее и впрямь ангельским, он понимал (по сравнению с собой) существом, вздохнул совсем непри-творно:

– Уф! – От какой-то неотвратимой неизбежности и страха не суметь сказать сейчас самое-самое нужное, а более всего – от избытка охвативших его многообразных чувств. Все было прекрасно в ней: и глаза, и нос прямой, соразмерный, и чуть пухленькие губки, еще не знавшие помады. И он лихорадочно-несмело назвал себя, страшась и радуясь. – Я по этой летучей посланнице Вашей, – раскрыл он ладонь, – нашел Вас, вернее – оттого упрости об этом Милу; простите, что назойлив. – В волнении он зачем-то расправил помятую бумажную полоску (в карандашик шириной), и, дивясь, прочел вписанное на ней имя «Ванюшка». Машинально произнес его вслух.

– А-а, позор, какой!.. Моя финтифлюшка заблудилась, не спросилась, – зарумянившись слегка, нашлась Оленька. – И в записочки, имена просто мы игрались классом. Не подумайте чего... – И пошла с отступом, позволив и Антону идти рядом; и он трепетно, слыша ее волну-юще-журчащий голосок, стараясь, подлаживался под ее шажок легонький, перемещался подле нее по наскольженному паркету.

Они, разговорившись, как в угаре, открыто-увлеченно высказывались о самых обычных, но очень-очень значимых для них обоих темах и предметах так, будто оба быстро почувство-вали духовное сродство и давно уже знали по каким-то моментам друг друга, знали настолько, что, казалось, каждый из них сам по себе втайне удивлялся тому, что они, зная друг друга так приятно, хорошо, несообразно почему-то не встретились еще раньше.

Лучшей встречи и быть не могло!

Поэтому с видимым удивлением и поглядывали нет-нет на них Мила и Ефим, которые, также знакомясь накоротке между собой, прохаживались также в антрактнозрительском, он выразился, хороводе.

Однако слишком коротко все продолжалось в первый раз.

На поздней неуютной грязно-мокрой, с огрызками снега, улице студёный ветер, свистя, неистуя в своем разгульном спектакле, терзал на прохожих одежду и заглушал голоса; когда друзья только что проводили девушек до трамвайной остановки и трамвай, полетев, продребезжал по выгнутым рельсам, неутомимый Иливицкий, шагая следом, громко рассуждал:

– Признаюсь, наши барышни хоть куда милашки – симпатичные и свободные. Могут разумному выбрать свой дальнейший путь. В отличие от нас, служак, не могущих покамест рыпнуться никуда. Ни-ни! Но ведь не стоит же жениться по выгоде, чтобы приякориться здесь, в городе, в конце-концов, как делают все сверхсрочники-старшины. И все-таки я доволен из-за Людмилы: сдаётся мне, она будет постарше твоей Оли. Посуди-ка сам, Антон, не поустарел ли я уже бежать вприпрыжку мысленно, что за галопом музыкальным, за этакой-то малолеткой-грацией? Зачем? Ну, к чему мне изводить себя незнаемо? Я сомневаюсь шибко... У меня ведь основание одно: если бы Людмила была ровней мне по летам, чтобы мне впоследствии не пришлось ее воспитывать. Тратить лишние эмоции... Понимаешь? – О балете он, кажется, начисто забыл.

– Что ж, по-твоему, нам разумней и практичней осторожничать? – пытался понять товарища Антон.

– Да нет. Я не об этом... Необдуманно можешь поставить крест на своих занятиях графикой. И так хромает все. Ты-то хотя бы умеешь держать кисть в руке, не то, что все мы – братия грешная, – на ощупь тыркаемся в бумагу, в холст... До изнурения.

Между прочим, Ефим, сколь заметно было, и разговаривал с подружками с некой благоразумной снисходительностью к ним, невзрослым еще особам, хотя при этом обыкновенно смущался и краснел по-мужски; возможно – потому, что он, став выпускником училища рисования, уже проучительствовал год в дневной школе; он, наверное, подсознательно учитывал их сравнительную (по отношению с самим собой) младшесть, что искушенный уже во всем мэтр, знающий и видящий, несомненно, нечто большее и существенное, чем то, что они, беспечные замарашки, могли успеть узнать и увидеть. Его излишне заносило в сомнительных претензиях.

– Брось-ка заблуждаться, Фима, – говорил ему Антон резонно. – Зря не наговаривай пустяшного. Не наклейка невзгод.

– Мы-то – ты пойми! – в двадцать три еще ничего великого не создали. И покамест неизвестны никому... Печально...

– Да, и Альп не перешли. Какой ужас! И будем в неизвестности, остынь! Мы не танцоры, чай, а чернорабочие по сути своей. До всего добираемся вслепую. Что жалеть себя позря заранее? По что пойдешь, мил-дружок, то и обретешь. Что бестолку рассуждать о любви, о нравственно-личных наставлениях, если она движима одним сердцем? – Антон преисполнен был самыми возвышенными чувствами к Оленьке – перед ее юностью, подкупающей открытостью и доверительностью. Для него как бы открылся новый полюс светопритяжения: она – превосходна. Привет! Живем! И поэтому он говорил несколько запальчиво: – На что же мы способны?

– Что ж, тебе флаг в руки! Дерзай! Пиши письма, сочиняй стихи, – сдался Ефим. Он был все-таки рационалистом и никогда не тратил своих усилий даром, т.е. не тратил их тогда, когда наперед предвидел, что из этого ничего путевого не выйдет. Вдобавок он пропел с нарочитой веселостью:

О не целуй меня
Не обнимай меня
В свои объятья
О, не целуй меня
Друг добрый, милый
Не разжигай во мне
Любви напрасной.

– Ну, умоляю я тебя!.. Умерь, герой, язвительность.

При виде тускло-размытой перспективы Мойки с Исаакиевским собором вдали Кашин на миг представил себе, как хмурым августовским днем их, призывников, – сотни тверских ребят (высадив из теплушек на Московском вокзале), вели колонной сюда, в казарму; колонна петляла вдоль Фонтанки, потом – канала Грибоедова и потом, что-то обойдя, – Мойки; сбоку улиц тянулись ровной линией потемнелые и побитые в блокаду здания, похожие по характеру на берлинские, увиденные им в победном 1945-м году. И он поразился тут очевидной достоверности описания Достоевским образа тогдашнего Петербурга, города, живущего всегда своей непроницаемо – независимой от его обитателей жизнью.

Знаменитый в прошлом Балтийский Экипаж, где служили друзья, – они и художнически выполняли (их обязали) всю наглядную рекламу для тысяч проходивших здесь флотских новобранцев, распределяемых затем по кораблям и базам, располагался в крепком старом краснокирпичном здании. Оно и поныне стоит за Поцелуевым мостом (через Мойку), в полустановке от Мариинского театра. Фактически – в самом центре города – примечательное удобство для молодого человека, жадного для получения знаний: близко от всех блестящих музеев, театров, библиотек, Академии художеств.

Едва Кашин с Иливицким вошли в тамбур-проходную Экипажа, навстречу им, звякнув вертушкой, грузно вышагнул смурной капитан Шибаев, ротный командир, деспотично-прописное пугало матросское. Он двигался, набычась, укоризненно косясь на веселых матросов, своих недругов, и втянув голову в плечи, но не оттого, что шел дождь – дождя не было, а по причине такой толстой короткой шеи. Нужно сказать, и среди начальства его никто не любил за солдафонство, но оно частенько использовало его в поддержке, когда проводило смотры, проверки личного состава; он отличался особым рвением к громким публичным декламациям порядка и дисциплины и наказанием за их нарушения – даже мелкие, ничтожные.

Недавно, к несчастью, умер его новорожденный младенец, которого врачи не уберегли от коварной инфекции. Да полез в петлю его подчиненный – солдат, но того бедолагу вовремя спас кок – быстро перерезал разделочным ножом веревку. И притом столь холодная, неприятно влиявшая на настроение погода, была потому, что было теперь в его душе полнейшее опустошение еще и потому, что вдобавок ко всем этим напастям от него, примерного службиста, ушла и верная жена – наказала его за ни весть что безжалостно. Дала ему отставку.

Пройдя тамбур и переглянувшись, друзья точно очнулись от чего-то потустороннего, незначительного, что волновало их и они держали на уме до сих пор. И больше покамест не толковали ни о чем, шагая к ночным ротным помещениям – так называемым кубрикам.

Ш

Никогда нельзя предугадать что-либо с точностью. Ни повествовать размеренно о чем-нибудь. Ни в каких придуманных квадратах – белых или черных. Ветер над планетой ходит, все с собой уносит; оставляет нам загадку, пелену. Одно верно: люди мельтешат от пресыщения.

Был кубрик, были голоса – играли сослуживцы в карты.

– Второй ход – симфония! Почти Бетховен.

– Ну, ладно, ребяташки, не огорчайтесь.

– А сто сейчас? – Нелюбин, старшина второй статьи, не выговаривал букву «ч». – Труба?

– Ералаш. Свои не брать! Свои не брать!

– В ералаш, говорят, можно со всего ходить.

– Ах, ход мой?

– Да.

– Мой?!

– Да, твой, парнишка.

– Ну, король сел.

- Пока воздержусь.
- Что там – трефа?
- Козырнули. Козырнули.
- Я почему и сказал: своих бейте всегда.
- А-а, сто ты, Иван, делаешь?
- Что я делаю? С бубей я пошел.
- Ой! Ой! Ой! Мой Ванюшка...

«Дорогой! Милый Антон! – перечитывал Кашин найденное среди бумаг письмо Пчелкина. – Нет мне оправдания, и я их не ищу. Твои письма – моя молодость.

Ах, дорогой мой! Мне важны не слова, а сама бумага, запах, вещь, к которой прикасался человек. Душно мне, мне всю жизнь душно. Радость милая, где ты? Всю жизнь жду... Жду, не хотелось бы писать тебе, зачем? Ясно и так. Дорогой мой, я прожил вроде много лет, а все кому-то и что-то должен, страшно, я боюсь жить! Я все должен. Внешне мы вроде такие же как все; да такие же, конечно, мы не исключение. Я понимаю: о многом ты спрашиваешь, я о деле не могу говорить и хочу да не могу. Какие у нас дела? Жить, понимаешь! Все так называемые «страдания», «дела»... Какие дела? Я не понимаю. Я их не умею делать. Все, все я понимаю: и поэтику, и «муки» понимаю; это и должно быть, и это все, все придет, пройдет и останется чистота. А «должен», «обязан» тоже будут, только цена им будет другая. Переоценим – дело времени. О многом говорить рано, не время; это – не двусмыслица, а просто некоторое само приходит с возрастом. Понять сухо, разумом можно, а трогать не будет.

О многом я хотел бы говорить, да без жеста и лица ничего не скажешь».

Рядом неугомонно картежничали товарищи:

- Нет, сегодня я ничего не соображаю – хожу не с той.
- Трефа? Я теперь буду держать...
- Ты же сдавал, Ванюшка.
- Нет, он козыри назнал.
- О-о, как хорошо! Все дали? Все дали. Все больше не дадим ему.
- Я не уверен.
- Это мы возьмем. Это мы возьмем. А это – отдаю.
- Раз-два-три.
- У тебя ничего нет, салага?
- Нет. Чист.
- Ссытай! Ну, сто же? Перессытывай!
- Сто пятьдесят, сто восемьдесят шесть...
- Постой. Может, вторая взятка была?
- Ну, молодежь зеленая! Кто сдавал? Бетховен?

Кашин развернул другой оборванный по краям нестандартный лист письма Пчелкина с прыгавшими строчками, стал дочитывать.

«На днях был в Москве, зашел к своим друзьям. Посмотрел выставку Всесоюзную и еще что-то в Третьяковке. Сейчас там нет ничего: ни Врубеля, ни Нестерова; Коровин, Серов зажаты; зато много Маковского, Шишкина. «Новое в искусстве», картинки... Оказывается, я зря старался – ничего не нужно: ни колорита, ни образа; надо писать все отдельно – лица, волосы, глазки, капусту и проч. И как можно глаже и яснее. Кому как, я же кроме великой неприятности ничего не чувствую, а особенно верх безобразия – это работы новых модных прикормленных портретистов. Бог с ними! Это очередной загиб.

Труд писателя очень сложен. Его, как обычно, не понимают. Сюжет ясен, а основа, колорит, запах, или «душа», не понятны. Во всяком случае понятны очень немногим. Да это и во всем. Но все-таки картина «ясней»: кто на кого и с кем – разберут. Музыка – вальс, марш – тоже даны в примитиве. Ах, я не говорю: Рембрандт! То тухнет, то горит; свет, таинственная

ть, многозначительность – мир, грезы. Духовно огромная его жизнь. А сколько слов о нем? Пустые слова. Это жизнь! Жизнь человечества в нем. И я там, я понимаю, я рад, мне легко умереть; я понимал, понимаю духовную красоту. Господи! Я выше всех; я понимаю! Прав ли я? Спорно? Возможно! Но я таков.

Сказка, сказка окончилась, природа сказала слово предумирания; это – символ человеческой осени, осень в жизни человека. Мир особенно богат красками осенью, человек должен быть в свою осень богат благородством. А там зима – жить и гордиться человеческими поступками на благо милых, себе подобных. Вряд ли будет противоречием, если научишься ненавидеть; в обществе людей это, пожалуй, необходимо. Я лично не умею, не принять и отрицать могу.

До свиданья, дружок мой! Прошу заранее извинения, ведь это только слова. Только ли? Весь твой Павел».

«Значит, о любви он написал в другом письме... Нужно непременно найти и прочесть», – успел только подумать Кашин, как дневальный у входа в роту прокричал команду: «Смирно-о-о!» И моментально картежники, сиганув, рассыпались по углам.

В помещение быстрым шагом вошел взволнованный капитан Смолин, в черной шинели и фуражке, – молодой, статный и сильный, со строевой выправкой, красавец – мужчина, приводивший тем в трепет не одну женскую душу.

Сюда, в часть, нагрянул неожиданно сам адмирал.

Там, за окном, на внутренний асфальтовый плац из-под арки, – Антон понаблюдал, – вылетели одна за другой, шурша, перемещаясь и развертываясь на ходу, несколько легковушек и остановились сразу. Одновременно дверцы у всех автомашин открылись и одновременно высыпало из них много важных морских чинов в зимней одежде. Полукольцом они, – в центре, видимо, были самые важные лица, – двинулись вперед, в глубь двора (не к начальственному корпусу), достойно и почтительно-предупредительно, наверное, говоря друг другу что-то очень важное. Тощий майор в каком-то замешательстве пересекал эту свиту. Однако его обгонял уже кап-один Зимин, командир части; он, одетый по-зимнему, с испугом и страхом, оттого что замешкался, теперь легко бежал вслед прибывшим, идущим. Вот он догнал, приблизился к ним и зычно закричал (но стекла в окнах не задрожали): «Смирно-о-о!» Адмирал остановился, развернулся, и кап-один, взяв под козырек, отрапортовал ему.

А Антону почему-то с необыкновенной ясностью и сочностью представился сегодняшней сон, отчего он проснулся ночью.

Антон полз по снежной целине.

Застрочил пулемет, зацвикали пули. И он рванулся к белевшему обрыву-траншеи, чтобы укрыться от обстрела, спастись... И руками уперся в пол, свесившись с постели. Белел же сильно в свете луны край простыни, сползшей под ним с кровати. Рехнуться можно от таких преследуемых снов...

Это-то ведь после балетного спектакля и ладного разговора с Оленькой...

IV

Отныне после встречи с Оленькой в сознании Антона Кашина ясней определились все понятия о том, что может быть наименее и состоятельнее для него самого; потому он даже в действе театральном, виденном им, не находил убедительно желанной гармоничности, как мог предположить, в отличие от, вероятно, несомневающихся ни в чем закоренелых знатоков, мало что определяющих в жизни, но нежелающих то знать. Он точно было поддался вновь обману в своей доверчивости, пока не раздвинулся роскошный занавес; там-то, за ним, по сути не было ничего необычайного, кроме чего-то условно-нарисованного и постановочного

в известных позах и ракурсах; да, не было, пожалуй, безупречно вершинного зрелища, такого, чтобы вмиг восхищенно замереть, как бывает порой при наблюдении естественных природных явлений. Да этого Антон и не хотел никак. Просто на поверку становилось вполне-вполне очевидным, что он был не готов воспринимать все так, как кем-нибудь предлагалось и считалось общепризнанным, эталонным, видимо. У него возникло какое-то внутреннее рассогласование и с собственным представлением о том. Сильнее всего его взволновала не мелодичность классической музыки, а замеченная им (издалека-то) худоба у иных балерин, у которых видно выступали ключицы, ребра. Это не могло не вызывать у него привычной жалости к ним, танцующим бедняжкам..., и несомненно мешало восприятию красоты танца.

Вдобавок его юношеское самолюбие задело и явное, замеченное им, быть может, несоответствие между высокой целью демонстрации балетного искусства и тем, что в партере, впереди, вальяжно воссживали зрелые упитанно-тучные мужи, алчуще пялившиеся на ножки и плечики оголенных балерин в самоублажении публичном. Не являлось ли подобное именно открытой формой самоублажения своих страстей? Неспроста Антон давеча, когда Оленька и Мила уселись в трамвай, было взъярился – отчего: там вставший мужчина ненавистный пялился на них. Глаза на его румяном молодежавом лице, несмотря на сплошную седину, жидкой щетиной торчащей за ушами из-под новой зеленой шляпы, – глаза еще совсем молодые, холодные и нахальные в упор уперлись в лицо Оленьки!

Но, может, лично у него, Антона, заведомо несусветные претензии на этот счет имеются потому, что он еще не воспитан эстетически, философски не развит и, стало быть, пока не дорос до истинного понимания таких тонких, деликатных вещей? Однако оттого у него возникало не меньше вопросов к самому себе. Самых различных. И почти всегда неразрешимых. Что его и удручало всерьез. Бессовестно.

Антон, третий в семье ребенок (всего семеро детей родилось), с сизмальства проявлял ребячью особенность. Так, по ночам, он нередко спал с беспокойными грезами, отчего даже падал с палатей; вставал же раненько – чуть забрезживал рассвет, точно боялся пропустить – и не увидеть – нечто-нечто сказочное, еще невиданное никем. А днем он с тех самых пор, как помнит себя, не спал никогда – не хотел и не принуждал себя поспать, когда даже и уставал. Отчасти только поэтому он и не пошел в детский сад, открывшийся в соседской крайней избе, только что конфискованной, выходит, за просто так у раскулаченного дяди Трофима; не пошел, несмотря на родительские уговоры, и упирался раз что есть сил, когда в шутку молодые задорные нянечки попытались, схватив его и смеясь, затащить туда, в помещение. К тому времени, мнилось ему, он уже самолично мог решить, как ему быть и поступать иногда; потому он уже активно сопротивлялся очевидному насилию и со стороны взрослых, кто бы то ни был.

Он очень рано – один бог ведает, почему, – начал рисовать. Возможно, по какому-то наитию, стечению обстоятельств; это пристрастие пришло к нему еще раньше, чем раскулачили дядю Трофима, когда еще тот, буйный в пьянстве, возвращаясь в очередной раз домой, еще издали громко вопрошал у своих домочадцев: «Вот я иду! Рады вы мне или нет, признавайтесь?!» И ежели слышал в ответ от жены непокорной: «Да черт рад тебе!» то начинал с угрозами гоняться за тремя большими сыновьями, бить посуду, попадавшую ему под руку, стекла. А утром, проспавшись, протрезвев, виновато волок со стекольщиком ящик стекла и стеклил окна заново. Вся же вина этого семейства, ставшего жертвой раскулачивания, состояла в том, что оно держало шаповальный станок и валяло валенки.

Но тогда Антон с восторгом в душе открывал величие и гармонию природы, которые он увидал, почувствовал, увязавшись с тетей Полей в ранние и поздние поездки по окрестностям на лохматой смирной лошадке. Еще до семи лет от роду, будучи в первом классе, он написал лозунг в школе о Первом Мае. А сочинительством занялся попозже, поначалу – с того, что расписывал, или уточнял, на полях акварелей быстро меняющиеся в природе цвета и оттенки многих предметов, вещей, чтобы успеть, угнаться, ухватить нужное. Зачем? От тщеславия –

все запечатлеть? Для чего? Он и сам пока не знал, пригодится ли ему его такой наивный порыв. В моде ли еще сентиментальность?

Ефим угадал: Антон все сближался с Оленькой, переписываясь и встречаясь с ней постоянно в музеях, на выставках и концертах, и прогулках загородных, как, собственно, и Ефим и Мила, с которыми они нередко виделись, даже в Филармонии, но которые не жалуя друг друга задушевностью, не чувствуя влечения, действовали скорее по инерции первоначально сложившихся у них взаимоотношений. Вместе с тем все новые события, как будто убыстряясь, развивались волнообразно потоками, смешивались и неслись себе стихийно. И Антона захватил такой поток служебных проблем, связанных напрямую – парадоксально! – с занятием им творчеством, а точнее – с начальственным непониманием этого его честолюбивого упрямства, не иначе. Здесь вовсе и не требовалось ни от кого-либо даже понимать буквально, есть ли оно, такое стремление, или нет (каждый сверчок знай свой шесток); глядеть при этом в рот и восторженно замирать, а ему-то, творящему, умастить кого-то за это и еще горячо благодарить. Тем более, что возложенные на него основные обязанности – в роте он заведовал (как и Ефим в своей) так называемой Ленинской комнатой и отвечал за политинформацию, – он исполнял честно, исправно.

Однако, лишившись возможности регулярно писать натурные этюды и картины, а значит, и самостоятельно совершенствоваться в живописном ремесле, Антон начал исподволь упражняться в написании прозы. Как бы про запас. Он записывал услышанные диалоги, манеру разговора, образы, вел своеобразный дневник – не под влиянием чего-то меркантильного, а из-за насущной потребности тренировки загодя – в наблюдении перед тем как выйти на писательский простор. Кстати, это-то занятие не требовало никаких материалов, красок, кистей, этюдников, холстов или картонок, никаких помещений и пространств; написанное же на бумаге, что Антон никоим образом не афишировал ни перед кем, чтобы такое не всплыло напрасно раньше времени, можно было быстро, в случае чего, убрать куда-нибудь подальше от посторонних, любопытных глаз, хоть сунуть под подушку.

Но, выходит, этим самым Антон навлек на себя подозрение: начальство батальонное крайне всполошилось.

Очень славно балерина разбежалась...

V

– Итак, за дело, капитан: пока матрос Кашин у меня... Стоит в кабинете... обыщите его шкаф, – нервно говорил майским днем в телефонную трубку замполит, прилично-обходительный майор Маляров, изначальный душеприказчик Кашина, – наставлял приличнейшего Смолина, ротного. – Возьмите его записи... Я надеюсь на Вас... Иначе, боюсь, все мы загремим... Полетят у нас погоны...

– Чего-чего?! Попал в подозрение?! Сколь же смешно!.. – аж задохнулся от возмущения Антон – не агнец божий, отнюдь. Он не притворялся тихоней, нет, но не мог и вообразить себе суть банально начальственного недовольства им и еще подвоха с его вызовом, устроенным ради каких-то иллюзорных умозаключений, в общем-то, нормальным офицером, причем и хорошим, он не понаслышке знал, семьянином. – Так, позвольте, товарищ майор, я самолично выложу Вам свои пробные писания – пожалуйста... Коли взволновались насчет их... И я побегу, покуда там не сломали сдуру шкаф казенный... – И он, даже не испросив разрешения уйти, выскочил из кабинета. Сбежав по ступенькам со второго этажа, сиганул через заасфальтированный плац. Подумал: «А может, это – месть мне, ослушнику, отказавшемуся наляпать настенный модный нестоящий макет? Непохоже...»

Влетев в кубрик, он решительно заслонил собой шкаф, дверцей которой уже лязгали старшина и капитан – они пытались взломать внутренний замок:

– Все! Хватит вам курочить вещь! Сам я отнесу... Охотно...

И взломщики, как-то пристыжено, потупив взгляд, отступили. И смылись.

Не раз случалось, что Антона с радостью и за шпиона принимали (все-таки он всюду рисовал), забирали в милицию. Притом и заодно, глядя на его рисунки, журили назидательно – мол, нехорошо, милейший, что рисуешь коровники, крытые соломой... Кстати, все праздные люди, кому ни лень, кто сам не создавал ничего материального, учили его, что и как нужно рисовать и писать; только трудолюбивые крестьяне, проходя мимо него, работавшего кистью или карандашом, всегда учтиво, с великим уважением, желали ему:

– Бог в помощь!

Было же, что летом 1945 года шестнадцатилетний Антон, прослужив два года в прифронтовой части, демобилизовался и стал работать рекламным художником в кинотеатрах, мастерских и одновременно учился в вечерней школе – восполнял четырехлетний перерыв (вследствие военных действий) в учебе. Он мечтал по окончании десятилетки поступить в Академию Художеств. Однако и снова прервалось учение. В 1949 году ржевские военкомовцы призвали его на Флот, причем бодро внушали, что ему несказанно повезло; они не хотели и слышать, и знать о том, что он-то уже воевал и имел награды (они сами ему их вручали). Был попросту недобор. А подошел призывный возраст – и баста!.. Ищи-свищи вдогонку справедливость...

На следующий день помполит Маляров, возвращая Антону стопку его исписанных листов, признался с явным разочарованием, или недоумением:

– Я не нашел в них знакомых фамилий, описания служебных событий, хотя почерк неразборчив – нарочно?.. Откуда ж ты все взял, переписал?

– Ниоткуда, – ответил Антон. – Из своей головы...

– Что, придумал сам?! – Майор округлил глаза, взаправду изумленный. – Ну, ты даешь!.. А зачем?

– Пишу пьесу. Рассказ...

– Не шутишь? Для чего? Зря, по-моему... Мучаться... Книжек столько на свете, что их не перечесть за век... – Тень непонимания, как легкого помрачения, легла на округло-розоватое, почти женственное лицо Малярова. Нет, он не желал ни малейшего зла никому. Это вскоре же подтвердилось.

Майор поручил Антону прочесть новобранцам свеженапечатанную в «Правде» статью Сталина «О вопросах языкознания». Но он засомневался: есть ли в этом смысл – восемь газетных полос, а ребята разны национально, не обучены грамоте; он сам прочел – и статья не очень-то завладела его вниманием. Имеются подшивки газет – разложены по столам; кто захочет, тот и сам полистает...

– Смотри, Кашин! – только и погрозил ему пальцем помполит. – Ты договоришься...

А затем должностные начальники и более серьезно покусились на его независимость: совсем неожиданно предложили ему учиться на срочно вводимых в экипаже офицерских курсах – сущее недоразумение для него. Все экипажное начальство уговаривало его подряд три дня, вызывая его к себе для очередной проработки и внушая ему, что так надобно нашему Флоту, нашей стране, и попутно пугая чем-то; он же отказывался наотрез становиться офицером, не раздумывая нисколько; он давно выбрал свою стезю, не намерен был сворачивать в сторону. Притом он как в своих суждениях, так и в поступках, всегда был независим, донельзя самокритичен, непреклонен во всем перед кем бы то ни было; действительно, чем больше на него наседали в чем-либо, кто бы то ни был, тем больший отпор получали от него. У него была только одна, он твердо знал, привилегия: быть просто художником – творить.

– Значит, ты меня бросаешь, – упрекнул его Иливицкий. – Одному мне отдуваться?

– Что не сообразно духу своему, ты считаешь, – в том не уступай, – заметил Кашин. – Защити себя. Попытка – не пытка...

– Легко говорить тебе – ты не боязлив, прешь себе на рожон...

– Ну, не хочешь перечить – кто ж виноват? Подставляйся, валяй...

Тем временем хмурый капитан Смолин вызвал в кабинет его и старшину первой статьи мощного Нечаева, дежурного по роте, и приказал тому взять двух матросов с карабинами и насильно – последнее средство – отконвоировать его, матроса Кашина, в курсантскую роту.

– Еще один бессмысленный приказ! – Антон ожесточился. – И ты, Мишка, выполнишь его – заарестуешь безрассудно друга своего?

Обескураженный Нечаев лишь растерянно пожал плечами.

– Подожди же, друг, не ввяжись в маразм и пока уйди-ка, не мешай, – говорил Антон: – Я обращаюсь к Вам, командир, боевому офицеру, участнику того штурмового перехода наших кораблей в сорок первом из Таллина в Кронштадт: – Вам угодно таким методом принуждать меня, юного участника войны, к согласию авантюрно играть роль в офицерское звание? Не коробит ли Вас самого от такой принудки? Ведь я осознанно еще в сорок третьем избежал участи быть в Суворовском училище и нисколько не жалею об этом. Уйма желающих найдется стать офицером. Без кнута. Не побойтесь отклонить нажим на Вас столь неправого начальства, только и всего.

И молодцеватый капитан, наливаясь краской, устало выслушал Кашина, вздохнул и отпустил его восвояси.

Безволицу пронесло!

VI

А затем Политуправление Балтфлота дало распоряжение: для подготовки предстоящей в Москве выставки работ флотских художников временно направлять днем в Базовый матросский клуб (Площадь Труда) матросов Иливицкого, Кашина и Старова. Тут и Иливицкого, на радость ему, выпустили из муштрового курсантской роты. Подфартило им? Лафа?

Этим не меньше их самих был доволен солидный Игорь Петрович, клубный гражданский руководитель, опекавший их. Он приговаривал, когда они собрались в клубе:

– Только не тушуйся, молодежь; все у вас получится на ять, поверьте. Смелей рискуйте... Итак, натяните холсты, прокляйте, загрузите их – вам такое не в новинку. И давайте: пишите маслом на славу все, что вам заблагорассудится. Несите сюда все свои эскизы, наброски, наброски... Посовещуемся, отберем и выставим что-то стоящее сначала здесь, в фойе; а уж отсюда потом и для Москвы отберутся ваши вещи какой-то – я надеюсь, профессиональной – комиссией.

На чистеньких холстах началась компоновка сюжетов. И вот пошло!

Матрос Алексей Старов – натура колоритная, уральская глыба – поистине мощно-пастозно (без подмалевки и лессировки) стал наносить сочные масляные краски на холст: на хмурое петербургское небо с лохмотьями облаков, на жирную исколесованную грязь под ногами Петра I, шагавшего в окружении сановников, на его сурово-решительное лицо. Это проявлялось в умбровой гамме неподдельно, рельефно, реально, точно. И Алексей даже задыхал шумно от столь тяжелого труда – наносить красочный слой за слоем. Он был почти на грани какого-то срыва. Как балансировал. Сильно возбужденный. Ефим Иливицкий, напротив, поглощенно водил кистью по палитре и картине, тоже стоявшей на мольберте, и напевал что-то для себя одного. Он поначалу изображал песчаный берег, или пляж, моря, с двумя причаленными лодками; однако затея была неудачной – он не различал цвета (был дальтоником), и оттого у него выходила просто выбеленная грязно-серая пейзажная живопись. Он и сам убедился в том воочию, отойдя от мольберта на шаг-два и прищурившись на свою работу. И сразу примолк. Раздосадовано швырнул холст на пол. Но тотчас же, вроде опомнившись, поднял его. И уже взялся компоновать другое – фигуры черноморцев-севастопольцев, бросающихся

со связками гранат под фашистские танки. И в этой-то теперешней композиции все выросло у него внушительно, живо, отчего он стал тихонько насвистывать какую-то мелодию.

Антон, работая кистью, старался не демонстрировать никому свой характер, хотя все большее недовольство самим собой овладевало им из-за того, что получалось у него на картине, вернее, получалось как-то не так, как предполагалось им, – необъяснимое противоречие. Он писал пейзаж со спеющей рожью, разливавшейся во всю ширь поля, с кучевыми облаками над ней, и дорогой, по которой спешил матрос в белой фланельке – спешил на побывку домой.

Игорь Петрович в своей обычной стеганой безрукавке, понаблюдал за его работой с восхищением:

– Ты, Антон, отменно пишешь небо, землю... С закрытыми, можно сказать, глазами...
– Но и заронил в душе сомнение, высказав замечание: – Да желательно – побольше раскрыть характер идущего матроса, а здесь его фигурка слишком малозаметна, мелка. Что, коллеги, скажете?

– Сомнение есть, – сказал Иливицкий. – Комиссия может придаться: дескать, жанр не раскрыт...

– Могу и убрать его с холста – оставить один пейзаж...

– Нет! Может быть, показать героя в общении с домашними – это лучше прозвучит?..

Подошедший к картине Алексей лишь поцокал выразительно языком, ничего не сказал.

Антону все уже было знакомо, или как-то, похоже...

Вспомнился ему живописный экзамен в Московском «Училище памяти 1905 года», куда он, восемнадцатилетний, поступал. То, как впущенные в класс ребята, похватав с толкотней мольберты, враз полукружили составленный в углу натюрморт с зеленоватым кувшином, книгой в карминовом переплете и апельсином на фоне дымчатой ткани; то, как они, похаживая среди леса мольбертов с холстами, шныряли жадно глазами по холстам соседей; и то, что неподдельно дивились тому, с какой помпой здоровый парень в фартуке, что оказался в центре класса, мастихином нашлепывал краску за краской, ровно штукатурку, на более форматный холст, поставленный им на мольберт почему-то вширь. Антону место досталось там, где досталось, – позади всех ребят, ближе к двери, и он, не подверженный общему психозу (ему так казалось) и не приемливавший этот пастозный стиль живописательства – малоуправляемый, без теплых подмалевков и создания пространственных ощущений, сначала чуть пролессировал предметы, намеченные им ультрамарином на холстинке. Розоватый отсвет переулочный полнил (сквозь окно) помещение и смягчал натюрмортные вещи, и Антон вел такой же красочный колорит под звуки слабого уличного трамвайного перезвона. Он корпусно положил мазок зеленого кобальта на плоскость холстинки – и все-то изображение кувшина заиграло настоящим образом! Оно заоформилось! Это его радовало. Пусть и свысока, скептически глянул на его раскраску этот заливчатский парень. И пусть нелюбезно ответил ему седовласый куратор на вопрос, точно ли имеет училище общежитие (Антону приходилось ночевать на вокзале Рижском):

– Общежитие – не мой вопрос. А вот у тебя, милейший, что-то не того...

Как длился второй экзаменационный день, в аудиторию вошел энергичный мужчина, прямо с ходу обратился к близ стоявшему Антону:

– Фамилия!

Кашин назвался.

– Все хорошо, Кашин! – И мужчина, бегло оглядев ряды мольбертов, вышел.

Был то, Антон пока не знал, Сергей Г., его кумир из нынешних живописцев, опекавший училище. И кстати: Антон получил за свой натюрморт оценку «пять», тогда как заметный парень в фартуке – «три».

Впрочем, Кашин дальше, кроме экзамена по рисунку и композиции, не экзаменовался; он не столько не выдержал вокзальных ночевков, сколько уже выяснилось то обстоятельство,

что здесь аж третьекурсники иногородние маются еще с жильем – не обеспечены общежитием. Что же рисковать – надеяться лишь на «авось»?..

Сейчас же хватило веских замечаний Игоря Петровича и собственных сомнений – Кашин почистил мастихином пока еще не затвердевшую краску с холста; он решил изменить сюжет в своей картине: замыслил дать крупным планом фигуру матроса-отпускника среди родных, в домашней обстановке. Однако новой перекомпоновкой был недоволен сильнее прежнего: фигура героя получалась какой-то скованной, неяркой.

VII

Да за ужином будто нарочно подсыпал ему соль на рану Алексей – сказал самодовольно-нравоучительно:

– Разве мы по-настоящему пишем-мажем? Все в картине должно играть – звенеть, как струна настроенная. Тотчас вызывать восторг. А подчистка, подмалевка, уверяю я, не спасает от туфты. Этим не исправишь ничегошеньки!..

Может, справедливо, но слова его так задели, возмутили.

Старов, ясно, безмерно заносился, выставляя на люди свое ремесло, как явно заведомую исключительность, достигнутую им заслуженно; поэтому он и влюбчив был, несдержан, а ходил, ступая мощно, широко, – бравировал собой везде, где только можно. Словом, пижонил открыто, не смущаясь. В него «втюрилась», он признавал, жена одного хилого сверхсрочника; раз она на виду всех матросов, шагавших колонной по городу, подскочила к Алексею и в открытую, без утайки, поцеловала его. И муж ее потом выпытывал у всех сослуживцев, в том числе и у Антона, действительно ли она погуливает со Старовым. Антон этого не видел. Да и не мог, не желал участвовать в подобных деликатных выяснениях.

– Слушай, дока, – осадил он Алексея за столом, – ты, возможно, стоящий, очень стоящий художник, без изъянов; но не держи хотя бы своих товарищей за дураков, ничего не знающих, не умеющих и не видящих. Умерь свой горячий пыл, помолчи, поскромничай хоть немножко...

Алексей попытался что-то ответить, только у него от волнения дрожала рука, державшая вилку, и лязгали челюсти – до того он психанул.

В душе Антону стало еще неприятней: он ни с того ни с сего, выходит, учинил словесную расправу; ему было жаль Алексея, не ожидавшего этого, а больше всего – еще противней за себя из-за того, что он отчитал его, хотя, может быть, и по делу. Как то знать...

Ведь люди, если вникнуть, извечно по-людски сумасшествуют, безумствуют.

И опасно, к несчастью, демонизировать свой род искусства: неуравновешенным легко упасть в помешательство. Антон знал одного юношу-погодка, Родиона, нацеленно писавшего тоже этюды и по-ученически приходившего с ними к Пчелкину; однажды, когда он бродил с этюдником, его даже арестовали военные вблизи воинской части, как опасного лазутчика, и двое суток продержали, пока выясняли, кто он, в своей кутузке. Бывало такое – не редкость. Но как-то заявился он, взъерошенный, к Павлу Васильевичу с ужасными рисунками каких-то монстров и с горячностью стал допытываться у него: возможно ли написать такую картину, что, глядя на нее, человек и может засмеяться или заплакать, иль вовсе умереть? Почти следом за ним пришла и его старшая сестра. Успела она прошептать Павлу Васильевичу, что Родион всю ночь под подушкой топор держал... И она увела его домой. С тех пор он не появлялся. Павел Васильевич винил себя в том, что так откровенничал в разговорах об искусстве с ним: это и могло дурно повлиять на него. И теперь сообщил в письме Антону следующее:

«...29 апреля пришли ко мне с просьбой написать на венок ленту: «Дорогому Родиону, сыну и брату, от родных». Оказывается, Калачев был все это время дома и 27 апреля умер. А

мы его адреса и не знали... Хотел я сходить на похороны, на кладбище, да что-то запутался в делах, потом сам загрустил и устроил ему тризну: выпил крепко. Бесконечно жаль его».

И далее он писал:

«Первая любовь – что может быть красивее? Но как это ложно по чувствам? Ложно ли? Да, пожалуй, и нет! Божьи дни не ложны, но жизнь, быт отрезвляют быстро – оставайся «пьяным». Береги главное – чувство любви к человеку, к природе».

Впрочем, у Антона в эти дни испортились отношения и с Оленькой: в их переписке начались выяснения, поредели их встречи.

Неужели он действительно, задавал себе Кашин вопрос, пошел дорогой не означенной, без вешек? Отчего же сильней всего его мучило осознание какой-то постоянной большой вины в чем-то ответственном и перед кем-то беззащитным? Он-то вроде бы сделал все, что мог. В исключительной, непредвиденной ситуации. И вроде бы правильно с моральной точки зрения. И будто бы кто-то другой, почти известный Кашину, уже чувствовал когда-то это самое по более важной причине, не один он, Антон, – чувство ему так подсказывало, он знал, видел, понимал то, если покопаться в памяти...

Опустились позднь и темь. Перед глазами – на той стороне свинцового канала – глухим и высоким забором тянулось вдоль старое красное здание Новой Голландии с беструбной крышей; во всю его высоту – тусклые запыленные стрельчатые проемы – окна. Надоедливо-однообразно качались там топольки.

И вдруг перед глазами – почти наваждение какое-то.

Неуспокоенный Антон, раздумавшись, сидел один на бровке заросшего поля в предсумеречно-размытом пространстве – ни кола, ни двора, ни позади, ни впереди; вокруг растеньица были смутно обозначены, в коричнево-землистой гамме, как глубокой осенью. И всю привычную картину, даже и себя, сидящего в раздумье, он видел разом еще как бы и со спины. Станным, слегка узнаваемым и как бы ожидаемым моментом было то, что это зыбко рисовалось ему в пределах знакомой ему (до боли) родины детства: вот край взборожденной полянки с горушками, в сотне-другой шагов от места с отцовской, он помнил, избой, уничтоженной оголтело налетевшим с Запада стальным вороньем; место ее бывшего присутствия предполагалось где-то за спиной, он это точно чувствовал, но не волен был повернуться и посмотреть – незачем, потому как он, все зная, что нужно, углубленно вглядывался лишь в одном – восточном направлении (не именно теперь), несмотря на опустившуюся на все смурность и могущую быть безрассветность. И было у него какое-то чувство вины перед матерью: он не мог повернуться, не мог еще разобраться с истинным положением вещей. Оно оказалось намного серьезней на самом деле. Ответственной.

И вот сбоку к нему подошла простая знакомая с виду женщина в обычной ватной куртке-фуфайке. Он не посмотрел на нее. Та показала ему неродной тетей Полей, с которой он дружил когда-то. Она коснулась рукой плеча его, ласково проговорила:

– Не тужи, сынок, а служи всем. Своим предназначением.

– А зачем, скажи, пожалуйста? – непроизвольно вырвалось у него.

– Спасение – в наших способностях. И – в твоих.

– Ну, откуда ты знаешь, что способен я и на что? – с досадой противился он, будучи в скверном настроении.

– Я-то знаю это хорошо, сынок, ты не волнуйся... – загадочно произнесла гостя небывалая, добрая. – Ум ни дать никому, ни взять ни у кого.

– Да кто же ты такая, что так говоришь?

– Уж такая я – твоя ... – и совсем-совсем истаял ее голос в воздухе. И сама она как испарилась. Остался он, Антон, один. Помнил он: где-то тут, должно, могла быть и мать его; но

ему теперь – при тяжести раздумья – не было и дела никакого до нее. Он, пень, не повернулся даже! Это он помнил отчетливо.

VIII

Когда старший лейтенант Поповкин, вновь назначенный батальонный помполит, узнал, что троица его кадровых матросов вольготничала, занимаясь без его ведома в Базовом клубе чем-то своим и свободно – напоказ всем – фланировала через пропускной пункт, приходя обедать, со словами, бросаемым дежурным: «Тэжэ» (т.е. «те же»), это его взбесило. Да и разве могло понравиться такое, если руки сами собой сжимаются в кулаки и хочется немедленно навести неукоснительный порядок. Казарменный. Что и быть должно.

– Вы нарушаете злостно дисциплину и разлагаете личный состав, – заявил он, вызвав их, раздувая рыжие усы. – Почему вы шастаете в клуб? Что, политотдел обязал?! Я выясню!.. И спуска не дам! А могу и запретить вам эти походы творческие, неслужебные.

– Будто Вы не видите, сколько мы делаем внутри рот, – возразил Антон.

– Ну, поговорите мне...вольные художники! Все! Идите!

Нужно сказать, что малорослый, случайноиспеченный должностник Поповкин, поразительно напоминавший желчного живчика-буравчика, сразу не обдумывался ни в чем, а действовал сгоряча, по прихоти своей, как нравилось ему и он считал нужным; просто мозг его требовал от него: травить, не пущать, прижать к ногтю непокорных. Его самого некогда так воспитывали – через ремень и брань. И ничего – человеком стал! Он был истинным неугомонным разрушителем чего-то целостного, устоявшегося, живущего слаженной жизнью независимо от его желаний.

Конечно же, он не мог запретить то, что от него вовсе не зависело; тем не менее, он пытался, напустив туману и пугнув на всякий случай, ущучить матросов в чем-нибудь другом, когда политотдел подтвердил необходимость их участия в выставке работ, т.е. вроде бы покровительствовал им, разгильдиям, не иначе. А поскольку они не ходили у него по струнке, а он все-таки имел немалую власть, то он продолжал порочную мелочную обструкцию против них: старался прищемить, пугнуть, придавить их в чем-нибудь. Так, регулярно давал команды дежурному по роте, чтобы отправить Кашина (его он особо невзлюбил) на камбуз – на чистку картофеля и т.д. Это-то – на четвертом фактически году его службы – намеренное унижение. Антону при виде неистово бурлящего Поповкина каждый раз хотелось воскликнуть: «Сгинь, сгинь с глаз долой, нечистая сила! Не засти свет!» Однако эта нечистая сила еще долго преследовала его, охотясь вождельно, хоть и безрезультатно всегда.

Словно бы в подтверждение реальности начальственных угроз однажды провели на плацу показательное разжалование старшины 2-ой статьи в рядового. Для чего всех матросов и офицеров выстроили и подали команду:

– Смирно! – зачитали циркуляр: – За систематическое нарушение воинской дисциплины и за уклонение от обязанностей командира отделения... Основание: ходатайство старшего лейтенанта Поповкина.

– Вольно! Старшине второй статьи Мамонову выйти на три шага вперед из строя! Мичману Добродееву срезать погоны у старшины! – Ему подали лезвие, завернутое в бумажку. И он стал возиться с ним, прилаживаться, не зная, как ловчее срезать погоны на плечах фланельки у Мамонова. – И командир опять скомандовал: – Помогите же ему! Что тяните, канителитесь!..

Спустя недели три двое приехавших в клуб вихрастых мужчин-художников – по-тихому обошли выставленные в фойе работы балтфлотцев, посудили, посоветовали им, студийцам, совершенствовать свои навыки и отобрали нужное количество их работ для Московской выставки. Все решилось за какие-то минуты.

В мае 1953 года, по возвращении из отпуска в часть, вечером, Кашин вдруг услышал от ребят ошеломительную для себя новость: вроде бы, мол, его, одного, демобилизуют на гражданку! А начальство ничего не сообщило ему и не подтвердило – хранило полное молчание. Но кто-то подсказал ему вверную, что нужно для точного выяснения новости ему самому сходить в первый отдел. Антон, не мешкая, отправился туда. И там, в главном (парадном) корпусе, за какими-то дверьми, куда он вообще впервые попал, особист, строгий рядовой матрос, спросив у него, кто он такой, сказал кратко-сухо:

– Да, есть решение-приказ. Будем оформлять документы на твою демобилизацию. Завтра вызовем. Гуляй!

– По какой же статье?.. – Антон не мог поверить в радостно случившееся...

По хорошей... Не волнуйся... Тебе еще дальше учиться нужно...

Да и сам Антон уже догадался, что теперь, после смерти Сталина, возможно, исправляется (хоть и с опозданием) несправедливость, допущенная военкомом при призыве его несколько лет назад, о чем он писал тогда в ЦК партии, и за что его пытались усомнить штабисты. Погрустнели товарищи, еще должны невесть сколько прослужить до демобилизации. И даже – старшины-«старика», отслужившие свой срок, но продолжавшие отныне служить сверхсрочно – вынужденно, неотвратно. Потому как, главное, не имели достаточного образования и никакой стоящей гражданской специальности. Они боялись могущих быть жизненных трудностей, с которыми могли столкнуться. Был для них замкнутый круг...

Антон сочинил телеграмму матери с просьбой к братьям (младший – Саша – плугарил, а старший – Валерий – железнодорожничал) – выслать ему взаймы хотя бы сотенки полторы рублей. У него-то имелась лишь тридцатка – все матросское жалованье. И занять деньги было не у кого.

IX

– Послушай-ка, Антон: может, это и используешь уместно как писательский материал... – С сожалением и пронзительной ясностью вообразил себе Кашин (ему частенько слышались происходящие в его голове чьи-то монологи, споры) – вообразил один рассказ Кости Махалова, бывшего разведчика Дунайской Флотилии и своего бывшего самого близкого друга. – Приснилось мне, что высадились мы, морячки, на берег с десантных шлюпок, и я уже расстрелял в бою все патроны, в одиночку бегу по верху какого-то скоса, какой бывает у полотна железной дороги. Бегу, понимаешь, безоружный: отстреливаться мне нечем! На склоне – сжавшиеся кучки по-трое, по-четверо безмолвно сидящих мужчин, огороженных выше, за ними, металлической сеткой. По другую сторону скоса – на небольшой возвышенности – ряды вовсю горящих печей; на них, прямо на открытых красных угольях, лежат мои матросики, в одних тельняшках; сверху они желтоватого и стального-синеватого цвета, снизу – искрасна горящие и тлеющие, как и сами уголья. Точно сплав однородный. А издали уже черной стеной немцы наваливаются – ломают; в той черноте проблескивает сталью их военная техника, оружие, слышится лязг гусениц. Это подгоняет меня. Я спрашиваю на бегу, запыхиваясь:

– Братушки, где можно укрыться мне? – Сам-то уж не вижу, где возможно сделать то. Нет же никаких заград! Ничегошеньки!..

– Если ты, браток, очистился в бою, то возьмем в свою компанию, – враз – хором – отвечают мне двое или трое лежачих.

Бегу зигзагами меж этих огненных могил, кричу сипло:

– Да уже очистился я, очистился!.. Где укрыться? Помогите!..

И тогда двое скоротечно гомонят:

– Вот давай, браток, сигай тут между нами – мы подвинемся чуток.

А мне, понимаешь, Антон, и боязно лечь – как-никак и во сне я понимаю трезво, что это лежит мертвая братва, мои товарищи, а с другой стороны – уже фрицы рядом: вон блестят их замасленные рожи иступленные, пулями они вот-вот угостят. И упал я, не раздумывая, спиной на огонь – в серединку двух братских тел, принявших меня. И пламени и горения не чувствую нисколько. И только страшусь уже за тех сиднем сидящих дальше, на откосе, лишенцев, кого я не смог защитить, как воин... Каюсь... Но к тому-то сорок четвертому году было нам, ребятам, всего-навсего по двадцать одному годку, а кому-то и того меньше... Надобно б всяко учесть...неопытность нашу... Хотя достаточна, скажу, была обстрелянность...

«У кого же из знакомых некогда вел Костя со мной этот разговор? – поразмыслил Антон. – Мы толковали в коридорчике. И там дверь туалета была красочно обклеена сверху-донузу водочными и винными этикетками, а во всю стену солидно топырился стеллаж, набитый книгами с отменной прозой: хозяин был библиофил, юрист, любил и собирал издания. Ах, то было у Генки Ивашева однорукого (в бою под Нарвой отрубило ему руку осколком) – у него мы собирались чаще всего... Прекрасное общество друзей закадычных...»

И тогда же, помнится, еще некая Вилора, молодящаяся, порхающая в пятьдесят девять лет дама, выстаивавшая по системе упражнений йоги по часу в день на голове, донимала ничемным разговором Антона. Она недавно женила на себе тридцатилетнего мужчину, ровесника своего сына (первый муж ее – поляк – трагически погиб в 1937 году). И она завсегда говорила много, быстро, восторженно и бестолково. Это была ее болезнь – так поговорить с людьми, как казалось ей, – оригинально. Много и быстро она говорила потому, что боялась, что ее не дослушают, и поэтому она спешила все сразу – существенное и несущественное – высказать; восторженно – потому, что, несмотря ни на что, хотела показать всем, какой же тонкой, все понимающей натурой она была; а бестолково это было потому, что в разговоре все было смешано, малозначительно. И от этого Антон никогда не слушал ее – он не понимал, о чем она говорила. У него при ее словах, как от ритмично-неестественного шума, тотчас заболела голова; он лишь смиренно ждал спасения, того момента, когда это кончится, или просто прерывал беседу. И так было лучше всего. Однако в этот раз его чутко спас от нее Махалов – и вот взял и рассказал свой сюжет сна.

– Слушай, мне приснилось подобное, – извинительно присказал Костя, – возможно, из-за того, что ко мне на той неделе приехала с цветами венгерка из Будапешта; она-то, знаешь, разыскала меня, как героя, который ее Венгрию освобождал. И представь – показала мне презанятные фотки: красуется на них моя могила с памятичком... Прижизненная, так сказать... Воистину.

– Что, выходит: тебя убитым тогда сочли? И тело другого могли захоронить?

– Возможно. Нелепица. Но с чего и началось: она, видя могилу и прочтя надпись, патристично возжелала выяснить главным образом то, каким я, оторва, замечательным юношей (ты понимаешь!), – Костя засмеялся, – был до той минуты, как погиб. Неотступно запрашивала всех и в конце-концов узнала, что я жив! Представляешь, какой сногшибательный поворот! Докопалась до чего... Что тут египетские раскопки! Да, я Пешт освобождал – однозначно, и в нем-то тогда коварно подстрелил меня власовец – из числа тех нелюдей, изменников, коим несть числа и с кем нынче меня призывают чуть ли ни лобызаться приятельски. Мол, нужно понять и их отвагу: они-де шли против самого Сталина... Но этот гитлеровский выкормыш именно в меня всадил пулю. Я, атакующий, бежал через банковское здание; он впереди мелькнул, прокричал мне:

– Не стреляй, браток, – свои!..

Я чуток опустил автомат. И он, шкура, полоснул меня... Проучил на всю жизнь... За что? Оплачивал сытную похлебку?.. Ведь известно: чужим служат усердней, чем своим. И вот, значит, теперь милая венгерка средних лет приехала ко мне с поклоном...

Только, пас, я не могу, не могу геройствовать в чьих-то глазах. Да, мы, ребята русские, по долгу совести освобождали от дерьма Будапешт. Наши солдаты пол-Европы, если не всю Европу, освободили от нацистов; положили сотни тысяч своих жизней, несравненных, цветущих. В одной Польше – под семьсот тысяч. Хорошо ли знают и помнят об этом свободолюбивые европейцы-задиры? Они все предьявляют нам, русским, различные счета, а этого не считают и не помнят о своем участии в агрессии против нас. Людьями и оружием...

– Дескать, не из-за чего, – сказал Антон.

– Да, какая-то мелочь...

– У них был культурный, европейски образованный правитель, и они же культурно все это делали. Например, они, блокируя Ленинград, даже не бомбили его, в отличие от немцев; не их вина, что здесь погибла почти треть жителей от голода. Зато теперь преотлично можно приехать сюда на денек и кутнуть. Да, подумаешь, еще одна дивизия – не немецкая – здесь оказалась. А из не немецких мортир обстреливали немцы город. И, подумаешь, бесились прибалтийские парни – эсэсовцы, маленько занимались расстрелами евреев, белорусов, русских, гуляли в чужих краях, спасая якобы свой...

– Позволь, друг, еще досказать... В Пеште мы самолично – по зову души – бесшабашно рисковали: под обстрелами скорей-скорей вывозили с хлебозавода муку и раздавали ее голодным горожанам, сидящим по подвалам, – старались подкормить их. Было такое. Было! И зато теперь я с радостью показываю приезжей иностранке мой гордый Ленинград – все, что есть у меня, чем богат. Иного не имею. Не нажил. Как все мы. Не наша в том вина, дружок.

– Я добавлю лишь, что нынешние гробокопатели тащат всех в бездну беспамятства, все фривольно переиначивают и ищут настоящих героев по ту от нас сторону. Овладела умами ностальгия по святочной рабской жизни. Ох-хо-хо!

– Ой, тоска зеленая! – вздохнул кто-то из женщин. – Права, права Люба. Вообще мы страшно живем. Во-о! Умники наши – двуногие!

– Слушай, Антон, а как твой отец погиб – ты так и не знаешь ничего?

– «Пропал без вести» – значилось в извещении, полученном весной сорок третьего. И все. Попал, верно, в мясорубку на Невском пяточке... Сюда его направили...

– И как же ваша мать без него все вынесла, вырастила вас, шестерых, людьями? Вот кому следовало бы поставить памятник...

Сон ли то прекрасный и дурной – наш век двадцатый-двадцать первый, сумасшествующий в самообмане, войнах, обогащении, мировых открытиях, новациях и разврате полном – пожирающей черной дыры в человеческом сознании, век потерянных поколений, неиссушенных слез и шутов – циников, посредников балагана? Стремительно летишь ты в тартары, теряя естество бытия земного, позволяя людям лишь вопрошать бессмысленно: как дальше жить? Зачем и для какого лиха жить? Не накроют ли нас сейчас обломки нашего хваленного рая – обломки от чьих-то крутых вожделий и разборок?

Х

При жизни отца, Василия Кашина, и вместе с ним тогда мальцы Валера и Антоша впервые ночевали в ночном у костра; вышло, что сюда они уже затемно подвезли, уставшие, плетясь за фурманкой, срубленный (в дальнем лесу) стволосой осинник, несший какой-то вязкий огуречно-плесенный запах. И здесь они выпрягли вороную и, стреножив ей путами передние ноги, пустили ее пастись ночь на поляну, тонущую в неоглядной синеве затаенного мироздания с лишь едва уловимым пульсирующим, точно кем-то управляемым, серебристым потрескиванием сверчков.

– А, Федотыч! Просим, просим к нашему костру, присаживайся вот... Хочешь закурить, Федотыч? А-а, и помощники отцовы, малы молодцы!.. Ну, подсаживайтесь к огоньку – славное местечко, грейтесь, отдыхайте детки... – Зарадовались трое мужиков новоприбывшим, словно редкостным каким гостям. Беспokoясь, подвигались.

В летнюю страду хозяйственные колхозники ехали по своим делам вечером, отработавши день (из-за нехватки лошадей и рабочих рук). На обратном же пути они, подгадывая, подъезжали с возом к ночному пастбищу, с тем, чтобы лошадь за ночь подкормилась травкой, отдохнула и чтобы самим им поспать-вздремнуть; а раным-рано они снова впрягали сивку-бурку в телегу и вовремя доезжали до двора – без всякого ущерба для полевых работ...

– Постой, Захар, я не могу свернуть папироску с махоркой – сыплется, неладная, – говорил отец густым голосом. – Пальцы-то мои как чурбушки... Огрубели... Намахался, вишь топором... Оттого... Сейчас отойду... Уф!

– Знамо все, Федотыч. Большая семья – большие и хлопоты...

– Да, нужно достроить свое гнездо...

– Сладишь, не тужи! Руки твои – ко всему привычные... Дай бог!..

Ловкий и сильный отец среднего роста, но плотного телосложения, в возрасте, перева-лившим за сорок лет, был любим товарищами всеми; все мужчины, вплоть до ярых драчунов, у которых он, усмиряя их, запросто финки отбирал, относились к нему уважительно, а все женщины – и приветливо, – авторитет его был очень велик из-за его высокого нрава, трудолюбия, сноровки и обязательности. Он был всегда хозяином положения и слова своего, и, казалось, не знал неразрешимых трудностей ни в чем.

– Ну и что ж, Василий, – вкрадчиво спрашивал, однако, дядя Захар, картавя: – этот дозна-ватель, кто намедни вызвал тебя на скорую расправу, признал, что это был навет на тебя, коли отпустил?..

– Я сказал в открытую, – говорил отец: – «На Руси не все караси, есть и ерши. А бездель-ники колхозные – белоручки всем видны. Они горазды только языком молоть, грозить красной книжицей, им – запросто наплевать на урожай, на все... Как угодники святые устроились... Не дыши на них, не тронь их, не скажи что поперек... Не по нутру... Разве это дело?»

– Так что ж?

– Он только язык пожевал. Пустил искры из глаз. Но не замел меня, как видишь, хотя я и с узелком уже пришел – Анна собрала... В третий раз...

– И-и, дружок,! Не от нас свет начался... И не от Египта... Созревают всякие плоды... несъедобные...

– И быстрехонько как. Оглянуться не успели.

– О, господи! Наш-то Андрейкин, председатель, уже ходит генералом. Генерала корчит из себя.

– Да, руку поднимает, а смотрит нелюбезно, искоса. Он попер на меня: «У-у, ты башковитый, хоть и неученый; с тобой не поспоришь...» Я и объявил ему: «Думаете – сели на шею – и не слезете... Вот до оврага я вас доведу, а там и сброшу в омут...» Конечно ж, он взъерепенился...

Валера и Антон лежали около весело трещавшего костра, завивавшего дымок горько-ватый; бархатисто-черное небушко разлитое, в ясных и мигавших звездочках – истыканное, стлалось ширью необъятной и захватывающей воображение; поблизости всфыркивали и выщипывали траву пасшиеся лошади, они медленно передвигались; курили, разговаривали мужики. И уж пробирала Антона мелкая дрожь – не столько оттого, что зябко спине становилось (а они ничего, чем можно было бы накрыться, не взяли с собой), а, сколько от еще неизведанной им прелести ощущать все это рядом с взрослыми людьми, чувствовать себя причастным к чему-то важному, хорошему. Когда он глядел на звезды, просыпанные в вышине, то почему-то – удивительно! – зримо видел перед собой маму, видел в пору ее молодости, еще до

замужества, какой она была на фотографии, – женственно-хрупкой, строгой, в белом длинном наряде, – прямо писаной красавицей. И что-то вечно молодое и мучительно неразрешимое в то же время было в ее взгляде. Мерно стрекотали кузнечики, мерцали звезды, падали, сгорая, звездочки; неслись, угрожая врезаться в землю, как Тунгусский метеорит, кометы – великое их множество; где-то умело разговаривал Дерзу-Узала со зверьми, рычал, вздымая волны, океан, боролся с одиночеством Робинзон Крузо, жили отверженные люди... Непредсказуемый мир, где надобно ходить, разогнувшись, а где присмотреться и пригнуться вовремя – получится ли так? Печально, но Антон в детстве даже дурных собак боялся почему-то.

Ни тебе ни паровозных гудков, ни гула пролетающих самолетов, ни лихой музыки, ни выстрелов, ни ругани людской, ни детского скулежа, ни страшных, бытовавших рассказов об отрубленных руках воров или даже голов, подброшенных к дверям, ни запаха керосина, не размызганных помоек. Лишь изредка стрелял костер. И слышно шептал толстяк-одноклассник, близоруко оглядываясь с парты к Антону, – шептал умоляюще-требовательно:

– Дай списать! Дай скорей списать! – И учительница уж подходила.

Валера спал. А мужики еще тревожно гомонили.

– Не должно бы повториться...

– Ой, как бы не так!.. Все в огонь подбрасывается... Вон в Испании...

– Неужели и сюда пожар перекинется? Пойдет щепать?..

– Ой, не говори: немца от войны не оттащить.

– Ты вот строишь все, Василий... И детишки небольшие, что и у меня... А ведь, если загорится, то придется же и нам пойти... Уже на третью...

Куда ж денешься?.. – И отец слышно вздохнул оттого, что такое могло быть. – Но все-все! Хватит колотиться зря! Пора и подремать.

Так невзначай подслушанное у костра стало для Антона неделимостью мира беспокойного, и в его детском сознании начинала ярко пробиваться истина о том, что жизнь не безмятежна, не застыла вечной, только кажется такой сначала; в ней-то много страшно неразумного, что могло коснуться всех. И вот греешься у костра ее до тех пор, пока можно греться.

Очевидно, пропустив свой урочный час, да и с непривычки, еще не приноровившись, Антон никак не мог найти удобное для себя местоположение, чтобы заснуть; то было неловко ему лежать в рубашке на земле, то у него что-то мерзло или же немело вроде бы, и он все ворочался, ерзал и костил в душе себя за свой характер впечатлительный, тогда как Валера спал около него, лежа калачиком, и успокоенно прикорнули тоже все большие. Антон же крутился, сжимаясь в комок (но, стараясь никого не беспокоить), – к огню поворачивался то лицом, то спиной. И то грело его спереди сильно, чересчур, зато холодило сзади, то наоборот. Временами же он проваливался в настоящий сон, забывая обо всем; а временами в полусне слышал, чувствовал, как кто-то заботливо подносил хворост и подкладывал его аккуратно в костер, чтобы тот не гас, как подгонял поближе лошадей и накрыл его, Антона, не то какой-то мешковиной, не то куском брезента. Перед близким рассветом, когда в сизоватой расступившейся мгле стали уже видно проступать темные округлые спины и гривы лошадиные да повозки нагруженные, да ближайšie кусты, и когда насторожилась тишина вокруг, костер почти совсем затух – лишь угли посылали в воздух немного пепла, если к ним протянуть-приблизить руки. Все еще дремали, сонные.

И какой же длинной, непохожей на все прежние, какие помнил, показалась Антону эта ночь! И какой безмерной!

XI

– Сейчас, сейчас я расскажу...

Федор Терентьев, бывалый мужчина в летах, с обветренным лицом и крепким рукопожатием (и сам ладно сбитый), в седом костюме, – москвич, приехавший поездом к постояльцу Кашиных, Илье Нефедову, своему двоюродному брату, который отсидел тюремный срок за нелепую кражу (из-за желания продать, чтобы выпить) какого-то слесарного инструмента из цеха и был выпущен на волю, но выслан из Москвы за двести сорок (по сути) километров под надзор милиции, – этот человек легко сошелся в разговоре с Василием, младшим, как выяснилось, собратом-солдатом по той войне. Федор заметил лиловый рубец на локте Василия. И спросил у него:

– Оттуда отметина? Понимаю...

И бывальщина эта объединила их за ужином на кухне. Правда, сидящий тут же, на пристенной скамье, и жующий сухощавый Илья был молчалив и даже сумрачен, а Анна слышала их разговор мимоходом, зато Валера и Антон – с жадным интересом. Василий сказал о том, что он все семь лет отбухал на защите Отечества; там коротались дни такие, что после каждой волны штурмовой в роте оставалось в живых лишь дюжина «стариков» каждый раз. И опять, и опять их пополняли и бросали в бой. А однажды (на Украине) и грозил ему очевидный плен: их разбили начисто, и он в подсолнечнике таился ночь. Немцы же прочесывали поле, выскребали солдат... А утром он с товарищем – была-не была! – поползли в сторону вышки, где и оказался на счастье наш пост.

– А меня пленили немцы еще в пятнадцатом году, летом, – признался Федор, разговарившись.

– Ничего себе!

– Да, до сих пор не могу простить себе этого позорища: в отключке был... Тогда была такая карусель смертельная. Ой! Мы, солдаты царские (я артиллерист – заряжающий) месили земли прусские: бились тут сряду трое суток – не спали. И вначале наши части наседали на немецкие, а после отбивались уже от них беспamięтно. Потом бог нас пожалел: затишка опустилась на весь наш обессиленный от содрогания фронт. Темнело быстро. Атак не было. Ну, сгреб я чехол брезентовый – орудийный (с пушками мы в дубраве притулились) да и завалился под толщенный ствол дуба, в ямку; в тот брезент завернулся с головой – помыслил: поспать бы часок! – и разом отключился начисто: проспал огневой налет. А проснулся – уж светлынь восходит, и, вижу, все вокруг – на тебе! – жутко раскурочено, вздыблено, перепахано и страшнее всего – товарищи убитые раскиданы. Побиты даже все столетние деревья. И лишь целехонький чернел надо мной – высился, топырился бахромой огромный дуб (упирался в облака): он-то при обстреле, точно, защитил меня. Иначе была б мне хана... И везде уже рыскали ретиво германские пехотинцы, постреливали их голоса все ближе, ближе. Ну, и заарканили нас, горемык, смертью милованных. Выстроили в затылок, и, выставив по бокам колонны поводырей-стрелков, по-быстрому погнались к западу.

В спешке вброд по горло переходили речки. Нас кормили горохом. Разваром. Кружку выпил, поставил – дальше, камрад, топай. Weg! Weg!

В Пруссии всю пятилетку мы, пока сидели, все благоустраивали немцам – нас водили по работам, И вот какой раж они выказывали перед нами при сем. Конвоир ведет нас и все долдонит над ухом твоим – расписывает, как они умело победят нас, русских, – победят всегда! Если ты молчишь, слушаешь его безропотно, без возражений (вроде б, значит, соглашаешься молчаливо с ним), – то набьет яблоч с яблонь, где аллеи, даст тебе; если же ты, не дай бог, только возразишь ему чуток, тогда и набьет яблоч под ноги, но попробуй подыми хоть одно из них, – безумно закричит:

– Nicht! Nicht! Schwein! – Затапает сапожищами. Заскрежест зубами. Карабин в грудь твою упрет стволом. Прямо взбесится, ирод.

Ну, такого свинства я, естественно, еще нигде не видывал, не испытывал.

– Дурной воин – дурное и понятие, – сказал Василий.

– Или, – бывало, топаем себе в поселке, – глядь, и цивилильные немцы высовываются, глазеют, подзывают к дому своему, – продолжал Федор. – Для того, чтобы им похвастаться перед недругом – Иваном непутевым своим обустроенным жильем и превосходством, значит. Говорят, сияя: дескать, видишь сам, какая красота у нас. (Как не видеть!) А что же, интересно, есть у вас? Верно, у них каменные все строения, черепицей крытые; сады и посадки расквдратены, зарешетены, всюду чистенько. А в мужичьей России серой, полуразрушенной, – избенки, хатки соломенные на курьих ножках; а одна тесничинка так прибита, другая этак, или чаще всего – стоит что-то наподобие овина, а не жилья. Но я их живо разоскомлю для-ради интересу. Говорю – и вот показываю себе на лоб пальцем:

– Во! Надо ж понимать... Нищий медяком все хвастует, а богатый золотого не покажет...

Ха-а! Один немец бесится, с кулаками ко мне подступает, а другой его уламливает:

– Дай же сказать ему! (То есть мне).

– Надо ж понимать, – я продолжаю свое. – Вы умный, практичный народ, но до русского народа вам далеко. Попомните мои слова. В ста верстах отсюда граница проходит, а вы вона как строитесь и еще хвастаетесь. Да еще хотите снова воевать с нами – у вас такие умыслы. Одна Weltkriege (мировая война) прошла, но и другая Weltkriege будет вами начата.

– Warum?! (Почему?!)

– Вот вам и «Warum?» Зачем же тогда так капитально строиться? Все равно все будет опять разбито – вблизи-то границы. А в России этого нет. Русский мужик умнее, переплюнет вас.

Это не в нос им было, не в нос. Так насолю им, и они взбулгачатся. Один малый плюется, другой урезонирует его:

– Может, его и правда.

Я уже кончил говорить, а они меж собой заспорят, да-а.

Я не курил и тогда, и вполне здоровый, с лицом красным, был, и немцы норовили загнать меня в шахту, – в ней для подземки прокладывали рельсы.

Работа тяжелая, и они любили выжать все соки из других людей, военнопленных, подневольных, зависимых от них. Побольше навар получить. Вот копаешься в чем-нибудь – и все мало немцу.

– Давай! Давай! – Кричит.

И один раз мы с немцем несли рельс. Тяжело, а ему все свое:

– Давай! Давай!

Я и сбросил рельс с плеча. И сильно, знать, ему отдало, – он за другой конец нес этот рельс. Как бросит, как взвоят:

– Schwein! Fertflucht!

С той поры – ша! – не стали меня брать в шахту. Ша! Как рукой сняло...

– Да? – удивился Валера.

– Не вру, малой. Я отвертелся: мол, живот надорвал, заболел... Раскусил их повадки волчьи и уж применял свои хитрости. А без этого и сгноили бы меня давно в немецкой земле. – И Федор закашлялся.

– Все-все, сынки; кончайте вострить ушки – будет взрослых разговор, – построжал Василий голосом, и Валера с Антоном вышли. И он спросил:

– Что же, ты считаешь: вверную вновь застигнет схватка нас?

– Не минует. Будет заворощка. Гитлер набирает силу, прет. А тебе-то, тертому калачу, разве то не видится?

– Видится немало, да все размышляю. Ты провидец, Федор?

– Кое-что пригрезилось. Может, оттого что много тоже думал, думаю. Немцы ведь живут войной, любят поиграть в нее – берут в руки пушки вместо хлеба, масла. Им дали теперь поджигательного фюрера – и они вмиг накрутят мордобой везде. Потому что слишком дисципли-

нированы и послушны: исполняют все, что им прикажут; уж они-то, повинувшись, не выйдут за пределы послушания – беда! Я-то знаю хорошенько... их настрой...

– У нас-то, Федор, бабий слушок прошел: мол, бабы лен выбирали, когда над полем летел в Москву немецкий самолет с этим самым Риббентропом; самолет летел очень низко, и они очень ясно видели, как немецкий летчик прямо и погрозил им кулаком... Станется: опять пролопоушим врага?.. Знают ли обо всем там, за кремлевской стеной?..

– Работают, должно... Мне одна смоленская председательница похвасталась приемом у Сталина.

– Пробылась к нему?

– Диво! Она приехала с мальчонком-внучком. У того в коридоре первым делом отобрали игрушечный пистолет. И когда она стала рассказывать Сталину о творимых безобразиях в сельском хозяйстве ее района, он, в кители и хромовых сапогах, выслушивая ее, и охватив руками голову, заходил по ковру в кабинете и все повторял:

– Ой, что делают! Ой, что они делают!

И мы можем лишь сказать:

– Ой, что делается, люди! Но худшее мне, Василий, предрек один пророк молодой, ученый, звездоискатель отчасти, – печальное раздвоение...

– В чем?

– В судьбах людей. Ужасный исход. После большой войны. Люди встанут стенкой на стенку. Постепенно поменяют кожу, стимулы. Развернутся, купятся за деньги. Начнутся разломы государств... Грядет бандитизм...

– Неужели может быть такое?

– Так в истории народов тьма похожих примеров. А разлад уже начат, совершается. И в умах людей. Растут корпорации, прибыль увеличивается и сосредотачивается в руках сверхбогачей; миллионы денежных потоков ухлопывается на вооружение, прямо или косвенно, – это невозможно проконтролировать. А пресса трубит истошно:

«Ах, какие молодцы! Производство подняли, загрузили безработных работой». Но – какой? И весь мир людской, нисколько не ведая никакой печали, предается веселию, ублажает себя в услаждении напоказ. Нарядами, конфетками. Никто не читает собственную книгу до конца – не хочет его знать.

Некоторое время мужчины втроем посидели молча.

ХII

Еще солнечный июль слепил, парил, умиротворял спокойствием. На раздолье травушке, за строганым крыльцом, легконогий васильковый мальчик, в рубашонке, скакал с желтеньким резиновым мячом; он вскидывал его перед собой и догонял, ловил без передышки. Белозвездный жеребенок Воронок в четырех белых носочках тоже зыкал, как наперегонки, зараженный, видно, детской прытью; ржа игриво, он кругами заходил во всю мочь около пасущейся кобылы-матери; та выщипывала травку и хвостом отмахивалась – отгоняла от себя слепней настырных. Маленькая бабка Степанида (нос картошкой), обутая в опорки, сидела на бревнышке с клюкой в руках, каковой всегда, грозя, ребят пугала, – спиной подпирала новый сруб избной. Ее сморило – сердце ослабело; она посапывала в дреме – и клонилась набок. А у ног ее играла молодая кошка серая, крутясь в стружках-завитушках на траве. Что еще? Вдали, за наплывом восковисто набухавшей рослой ржи, среди нескольких горделивых тополей, сахарно каменела звонница, давно забытая. Тишь нашла такая – прямо уши заложило. Ни березовый и ни тополиный листик и ни малая травиночка не шелохнулись. Гром покамест не урчал – не слышалось его. Но сине-черная гроза валом заходила западной стороной, уже крыла небо высоко, подбираясь и сюда. Потом поурчит – и пройдет. Так уже бывало. Тяжело дышать. Бабка

Степанида рукой сердце утишала. А мальчик – василек все резвился (хотя и жеребеночек уже угомонился).

И Анна Кашина присела на минутку на ступеньку крыльца. Взирала на игравшего, словно на стороннее явление, и думала: «Ее ли это младшенький, Санек? В нем ли будет повторенье ее судьбы? А в Антоне, среднем сыне? Или же в Валере? В дочерях? Но разве дети повторяют в жизни все родительское? Незачем далеко ходить. Есть примеры. Вон что поведал Федор: у его двоюродного брата, новгородского мужика, семнадцатилетний сынуля-гулена, разозлился на старого отца, прибежавшего к помощи ремня, на будни хозяйства и укатил самолично в Ленинград. И даже с отцом не захотел попрощаться. Мода такая, знать, завелась...»

И с нежностью, тревогой она подумала: «Хрупкие колоски, поди, – устоят ли, выдержат ли они напор бури, если она нагрянет?..» Она представила себе на мгновение серп в руках и гудящие от него руки и образы сознания ее уплыли куда-то далеко...

Издали послышался слабый напев – наверное, кто-то завел патефон. Певица пела:

«Живет моя отрада

В высоком терему.

А в терем тот высокий

Нет ходу никому...»

С разговором мимо прошли молодайка Надежда с мужем Анатолием.

– Она замотдела, небось.

– Ну, как Адам и Ева. Знаешь Адама-то и Еву-то?

– А кто ж их не знает – этих безбожников из рая?

– После них-то запрещен для нас вход в рай. Мы его даже и не нюхали. Отсюда все наши потешки.

– И стали ни с чем?

– А, черт с раем! Один раз живем.

– Разве? Ты это знаешь? – И Надежда пропела:

«Живет моя отрада

В высоком терему...»

Между тем облако громоздилось, простиралось, все захватывая, уже выше солнца. Веяло безмерной сине-черной глубиной.

Отдаленно пророкотал раскат грома. И почти немедля – вслед за взблеском – прочерками молний в этой огромной расплывающейся над постройками и деревьями синеве – он раскатился уже явственней, сильней, грозней, нетерпеливей. Упали первые крупные дожди. Поветрило. Анна всполошилась, вскочила. Узвала в избу Сашу, Антона, дочерей; давай вместе с ними закрывать все двери, окна.

Сильно ударил напор ветровой; задрожали под ним стекла, стены; зашумели, замотались деревья. Летели листья, сломанные ветки, били по окнам; желтые вспышки молний прорезали обрушившуюся серую пелену грозы по всем направлениям, не щадя ничего; во всю мощь, с остервенелым треском, раскатывался гром и отдавался многоголосьем. Со страху хотелось вжаться куда-нибудь подальше (понадежней) от такой грозы. Что-то особенно бухнуло и затрещало. Стеной косил ливень грозовой.

Он недолго бушевал. Вот просветлел тот край неба, откуда накатила туча, и урчанье грома и сверканье молний уносилось все дальше и таяло. Наступила редкая тишина – не было дуновения ветерка. Под солнцем все блестело. Мальчишки побежали босиком по теплым лужам – хотели везде побывать и посмотреть своими глазами на то, что натворила буря. Были повалены березы, тополи, раскиданы доски. Со двора соседей Кашиных снесло половину дранковой крыши и бросило к Кашиным на огород, на вишенник, вследствие чего и три большие яблони были срублены.

Однако Василий с сынком Валерой, впрямь отцовским помощником, пришли домой возбужденными по иному поводу. Они только успели заскочить в амбар (Василий был и кладовщиком), как молния ударила в сосну, росшую рядом, обожгла хвою и, расщепив ствол, ушла в землю, под откос.

Анна ужаснулась этому обстоятельству.

ХШ

Было бы слишком упрощенно искать в чем-то начало всего.

Сколько Анна, ровесница века двадцатого, себя помнила, начиналось все вновь и вновь с обычного круговорота в жизни, заставлявшей крутиться. Так и предки ее жили, переламывались из-за тягот непредвиденных, ужасных в работах на полях, во дворах, овинах – что об этом говорить опять, только славословить, мысли засорять! Надобно проникнуться величием духа.

Очень важно – кто с чем уродился, чем отмечен. . .

Анна роду была не самого черного, крестьянского, но и не то, что белого: росла вторым ребенком в семье среднего достатка, в которой уважительно строились и отношения между всеми старшими и младшими домочадцами – под знаком, безусловно уважаемой личности бывалого деда, Савелия Петровича, очень ласкового к внукам и взаимно любимого ими, и домовито-ловкой и тихоголосой матери Елены, которой, как водится, подраставшая Анна уже помогала по дому. Двор у деда считался, однако, богатым: владея дюжиной десятин земли (хотя и на вырубке), он держал четырех лошадей, имел конную косилку; но из-за нехватки денежных средств он нанимал лишь сезонных работников для полевых работ, тогда как, например, богатый сосед Карп Нилыч, кому доходы позволяли, набирал тех на целый год. В чем-то практичном, хозяйственном, а также душевным складом ума с ним был схож и сын его, Макар Савельевич. Кстати, дореволюционная провинция не венчалась с фамилией – так, газеты выписывали на имя-отчество и сами получатели забирали их вместе с редкими письмами на почте – почтальонов не было. Анну же в школе называли «Анна Макарова» – по имени отца – после того как учитель при знакомстве спросил у нее:

– Ты, чья будешь? – и кто-то ответил за нее:

– Да она – дочка Макарова.

В молодости Макар Савельевич дослужился до чина вахмистра. Неподкупно честный и немногословный (даже со сдержанным обращением – детей не бил, не ругал, но и не ласкал по всякому поводу – не в пример деду или бабушке Дорофеи), и по-женски весь какой-то мягкий, с умными карими глазами, с тихой, рвущейся изнутри грустинкой (перешедшей и к Анне), он прилежно хозяйствовал, пел на клиросе, читал псалмы. Но будто всего его пронизывало предчувствие какого-то неотвратимого несчастья, или, возможно, настолько влияло то, что у него болела голова постоянно – едва встанет поутру, так сразу за нее схватится рукой.

Анна пошла по ученью: оно ей давалось с легкостью и нравилось. Поэтому она считалась хорошей, способной девкой, хотя раньше, при старом режиме, школа была и не в почете у крестьян; считалось, что крестьяне на земле должны хорошо крестьянствовать – главное. Училась она в платной десятиклассной епархиальной школе, где занимались лишь одни девочки, одевавшиеся очень хорошо, по форме, тогда как в трехклассной приходской (при одной учительнице) учились уже все деревенские ребята. Ходила же она за несколько километров – во Ржев; по грязище разлитой, завсегда особенной на непросыхаемой горе и около станции, хлябала и хлябала туда-сюда, чавкая холодными сапогами. И так она раз завязла напрочь – по колени – в жирном месиве. Выручили проходившие мимо мужики: еле вытащили ее; она влипла так, что у сапог подметка даже оторвалась. Но если непогодилось и завьюживало, то дедушка лошадь запрягал и отвозил ее либо на лошади мать встречала из школы.

Обычно школьники ходили напрямки – как покороचे – через железнодорожные пути. И, бывало, здесь иные шутники пугали мальчишек:

– Вон Микитка, Микитка идет, сейчас он вам, негодникам задаст! – В нерешительности как-то Анна жалась на платформе со своими книжками, тетрадками – рядом шумно паровоз пыхтел – пугал: «пых-пых-пых»; она заплакала от страха и обиды, что ей одной ни в какую не перейти. Да только подошел к ней дядя Никита этот, работавший здесь кем-то, в форменной фуражке, взял за руку и перевел ее. И она его уже больше не боялась. Ни за что.

У Анны начинались занятия в восемь часов, а у брата Николая, первенца, – был он старше ее на четыре года, – в девять (в Воскресенской школе), и, поскольку ей в одиночку было страшно выходить из дома и идти – еще темным-темно, Николай сопровождал ее и злым покрикивал на нее дорогой:

– Вот из-за тебя, такой трусихи, приходится мне тоже переться ни свет-ни заря, наказанье божье; ну, скажи-ка мне, тебе не совестно, не ай-ай-ай, что я нянькаюсь с тобой?

И все стало по-иному вскоре. В 1914 году скончалась молодая еще мать Елена. Бабка-повитуха заразила трех родильниц (раньше сельчанки на дому рожали): они умерли, в том числе и Аннина матушка, родившая на сей раз двойняшек – мальчика и девочку. Мальчик умер в тот же день, а девочка двадцать дней жила; коровьим молоком кормить ее пытались, а та в рот не брала его. А родильнице по традиции полагалось вымыться, т.е. очиститься, на третий день: по церковному писанию, родив, она будто, значит, не чистая. Библейский закон утверждает так, что женщина, родившая мальчика, считается нечистой в течение 6 недель, а родившая девочку – в течение 12 недель, и поэтому должна пройти очищение. В бане-то своей – в тепле – Елене и сделалось плохо; оттуда на руках вынесли ее без памяти: грудница в голову вступила. Она на восьмые сутки и скончалась, бедная, оставив любимца сына и четырех дочерей, самой старшей из которых, Анне, доходил тринадцатый год, а младшенькой, Дуняше, – только третий годочек. Поэтому Анне запонадобилось бросить школу насовсем: вся природа повисла на ней, вроде ставшей в большом доме старшей хозяйкой. И все больше домашних дел повисло на ней: две коровы, два теленка, лошади, поросята, птица; бабушка старилась – и не могла уже доить коров, ухаживать за скотиной; баня своя – надо истопить, помыть чума-зых сестриц; пока перемоеет, умастит всех – самой, изнеможенной намертво, уж ни до банной парки и мытья, ни до еды, ни до чего. А все белье, считай, – новинное, прочное. Пока его гору перестираешь, переполаскаешь в речке – руки отвалятся, спина занемет. И до того еще измучивались рученьки, – ей памятно всегда, – на трепанье вручную льна в овине дедовском, построенном на два хозяйства – вместе с дедом Фишкой. Век они ломили, давали знать о боли.

Тогда ж Анна собой фактически заменила меньшим сестрам матушку – их растила, подымала – по кровному долгу совести, любви, что в ней было развито. Дед дела земельные, опекаемые преимущественно мужским родом, вел сообща с семьей второго сына, Алексея, но все домочадцы по обыкновению волчком, что называется, вертелись – поворачивались только, как ни были редкостно работливы: работ всем хватало – завались. Выходных не признавали. А вот вымахавший ростом брат Колюшка, увлекшись запоем политикой и новыми революционными теориями, хлынувшими в книжки, в газеты и в народ, со взрослостью своей заважничал, отлынивал; он совершенно уже выпрягся из несомненно узких для него семейных интересов и забот: не для того мужчиной становился. Весь тут сказ. Он все подряд читал – и ногти грыз; пока книжку дочитает, изгрызет все ногти на руках. Был все же вредный – отговаривался:

– Это, что же, запереть меня с сестрицами? Чтобы я скапустился, заквасился?!

И не подступиться даже к нему было никому. Заносился он заметно гордецом, что ли, перед публикой необразованной, кто, известно, меньше его смыслил кое в чем, тем более сестрички розовые и слюнявые, ни на что толковые в его понимании, не годные, разве что на тятканье с куклами и с тряпками, и еще с горшками. Разве они что великое поймут?

Хоть и не бедно они жили (питались, правда, хорошо), но все они спали не на кроватях, а вместе, вповал, точно цыгане, на полу некрашеном. Дом был всего в три окошка – не просторен для них. Каждый раз из сеней приволакивали соломенные маты (называемые – проще – рогожками), стлали их прямо на голый пол, на них – перины, и накрывались длинными овчинными тулупами, сладко гревшими всю ночь. И то дед покрикивал командирски:

– Не давай, не давай Тоньке шубу! Она изорвет ее раньше времени.

У бабки-то было четверо дочерей (трое еще незамужних) да трое внучек и внук – все жили пока под одной крышей. Станет она звать кого-нибудь, собьется в именах. Издосадуется:

– Тьфу! Напутала, кляча старая, негодная! Задержалась я...

И по первости Анне все виделась матушка везде в живости. Вот влезет она на прихмуроватый чердак за вещами, что хранились в фамильном красном сундучище, а там, за ним, глядь, строгая мать стоит – ждет ее. И Анна сигаает с чердака без памяти. Сколько раз так грохалась с высоты. Все-таки еще ребенком была. Или вечером она – возле бани, что над речкой, за дубочком, на отшибе – светит незадуваемым фонарем сестренке Зое, чтобы та банную дверь заперла. Из-под речки в это время ее зовет требовательный голос:

– Анна! – Снова: – Анна!

Говорит она, дрожа, сестренке:

– Да быстрее же закрывай ты дверь!

– Да ведь никак не закрывается она почему-то, – буквально стонет Зоя, лязгая запорами, трясясь тоже.

К дому подошли. Спрашивает у ней Анна:

– Ты слышала там что-нибудь?

– Да, – отвечает Зоя. – Очень ясно слышала: тебя позвал мамкин голос. Дважды. К тебе обращенный.

А по поверью выходило – и ей предрекали – что она лишь три года проживет после смерти своей матери. Только ее предрекаемая знатоками смерть где-то заблудилась позабывчиво-рассеянно.

Между тем империалистическая война во всю полыхала, и призвали на службу Николая. Спустя несколько лет, когда прошла революция, он вернулся домой совсем целехонький, в мужестве, даже красным офицером. И с новыми перекорами ко всей своей родне. За революцию, за власть спорил с дедом и отцом. Пророчествовал:

– Вы вот еще доживете до такого времени, что вас будут не хоронить по христиански, а сжигать в печах. Все к тому идет. Прогресс!

Это больно злило деда:

– Креста нету на тебе! О, богохульник! Богохульничать надумал! Тьфу! – И к сыну приставал: – Вели ему замолчать сейчас же! Плохо ты, Макар, его воспитывал!

А Макар Савельевич, держась за голову, больше все отмалчивался или рукой отмахивался мягко, морщился:

– Ну, будет, право, вам – спорить; отстань ты, отец, ради бога.

– Отстань?! – Дед вскакивал, кричал – разряжался: – По-твоему, значит, я пристал к любезному внучку, а не он мелет что попало? Ну и времена пошли у нас на Руси... Все навыворот, все навыворот! И спасибо тебе, сыночек, уважил старого отца... – Но это несмирненно в нем старость обижалась и протестовала: помимо всего прочего, тогда как он и двое его сыновей водку не любили, в рот не брали, не позорились, внучек Николай, не щадя никакого нравственного дедовского самолюбия и с этой стороны, начал запивать, опускаться в водку, а следственно, и в некрестьянское краснобайство с навязчивым нравоучением всех-всех.

А вскоре, июльским днем, неожиданно умер Макар. На сорок шестом году. Служил с утра в церкви – и еле-еле доплелся домой; был очень нехорош, со страдальчески-побледнелым

лицом; его будто сглазила там одна черноглазая молодайка – она все косилась на него. Войдя в переднюю, он только произнес (его трясло):

– Как жарко! Очень жаркая рубаха... Дай, мама, легкую...

Слабеюще потянул он вверх руками белую косоворотку, чтобы стянуть ее с себя через голову, да так и осел замертво около скамьи – с неловко поднятыми руками. Словно сдался небу и земле.

С его кончиной пришли новые заботы. Анна совсем безоглядно завертелась по делам хозяйским. И ей с лихвой тогда досталось маяты и всяких беспокойств.

XIV

Раз во время косовицы ее запряженная лошадь, отчего-то испугавшись в Заказнике, у черта на куличках, где владел дедушка землей, неожиданно взбрыкнула, рванула и опрометью понесла телегу в целик – по зеленым кустам, по кочкам. В одиночку-то Анна уж до одури наездилась – намоталась туда-сюда. По бездорожью, гати. И все покамест ладилось: она как-то справлялась. А тут от неожиданности она вожжи из огрубевших рук выпустила (от рывка), не удержала их. Обмерла и ужаснулась она вся, к неминуемой смертушке уже приготовилась; в уме у ней мелькнуло: верно, мать наконец докликалась, дозвалась ее... И до того щемяще-больно и жалко стало ей сестренек меньших – что они и без нее-то, старшенькой, их любящей, останутся теперь... Да откуда ни возьмись вдруг возник на пути ее ошалевшей лошади стройный молодец-крепыш со сверкнувшими глазами (видимо, сама судьба его послала); он накрепко схватил лошадь спереди за узду и оглоблю телеги – и миг осадил норовистое животное своей силой и добрым строгим мужским голосом:

– Тпру-у-у! Ну, балуй! Балуй! Стоять!

Та даже вздыбилась, попятилась, затанцевала.

И был это двадцатисемилетний Василий Кашин, росший сиротой, почти легенда деревенская по своим еще юношеским независимым поступкам. Хоть и не великаном в росте он был, но обладал изрядной ловкостью, сноровистостью и физической выносливостью. Он, провоевавший несколько лет (во время Первой Мировой и Гражданской войн), контуженный, недавно демобилизовался. И вышло (очень кстати), что именно в этот час он заехал в Заказник – один на паре чужих лошадей: он рубил лес, возил, пилил, колол и продавал его на рынке – для того, чтобы, прежде всего, прокормиться и приодеться мало-мальски. Значит, полностью (и давно) обслуживал сам себя в этом отношении. Не рассчитывал ни на чьи подачки.

И так необычайно познакомились Анна и Василий.

Смолоду родной отец Василия и отчим Трофима, Федор Гаврилович, был жестоким, пьющим – страсть! Бузил, скандалил уже со взрослым, женатым Трофимом; считал, что тот обчищал его карманы (малолетний Василий не мог – к нему еще не было претензий). По пьянке он выгнал Трофима из избы, с глаз долой, – за сказанное ему что-то поперек, и колясочку с его одиннадцатимесячным первенцем, Семей, выкинул в окно. Обирала же безбожно его вторая жена Степанида, лиходейка. Умер он, когда Василию было одиннадцать лет; оттого Василий кругом осиротел, как и Анна: его мать умерла ранее, когда ему исполнилось только четыре года. Так что молодецкие его годы отличались особой задорностью в отстаивании своих прав и убеждений перед сквалыгой мачехой, которая выламывалась и измывалась над ним, требуя с него, пасынка, самой черной работы. Никаких обнов она ему не справляла, хотя он рос и все горело-трещало на нем, работающем; она, издеваясь по привычке своей, зачастую и есть ему не давала – еду буквально из рук у него выхватывала – отбирала, хотя подпол в доме ломился от вкусных солений, варений, масла, сливок, сметаны – все это продавалось, куда-то уходило...

Как-то, когда она сидела – прядла из куделек в передней, он зашел к ней – решительный:

– Что же ты, мать, мне штаны не купишь? Посмотри – ведь все развалились... Срам ходить на людях!.. – Коленки-то он раздвинул, а штаны на нем уже клочьями ползут; не то, что коленки голые блестят, а зад прикрыть нечем – одна рвань.

Она взглянула на него отважного оборванца, да и шикнула:

– Нечего! Нечего просить у меня! Я не буду тебе штаны покупать, не буду тебя одевать – пока обойдешься!

Он не стерпел – и поднялся:

– Ах, ты так?! Еще за материнской прялкой расписной сидишь, стерва, – и говоришь мне такое! – Хвать из-под нее прялку.

Степанида упала. Но тут же вмиг вскочила да схватила со стола длинный нож кухонный и – на Василия. Не хочет ему уступить. А он, молодец, уже силу набирал (хоть куда!) – нож вывернул из руки у ней, вырвал. Тогда она безмен с гвоздя сдернула, над его головой занесла. Он и безмен у нее перехватил, отнял. С безменом кинулся за ней. Она с одной обутой ногой (другая разутая), раздетая выскочила на улицу с криком. В апрельскую-то распутицу... Ну, старосту немедля привела, чтобы он рассудил их и взбучил его, фармазона. А Василий штаны свои показал ему: мол, посуды, негоже получается... Староста прижал Степаниду – пообещала она при нем же купить одежду Василию. Да едва тот ушел, она снова закусила удила. И снова у Василия с нею поднялся тарарам, да такой, что мачеха, впопыхах похватав свои манатки, побежала опрометью вон. Завыла. Семилетняя Маша, ее дочь родная, на печку забилась со страху, заплакала; а Василий и сказал ей, чтобы успокоить:

– Молчи, я тебя ж не трогаю и не трону вовек, только мать дурную выгнал. Мочи нет терпеть ее!..

Опять пришел староста, привел пожилых мужиков, чтобы урезонить Василия, а тот вышел к ним на крыльцо с топором – непреклонный.

Степанида несколько дней-ночей не приходила домой – не показывалась, но затем забрала Машу к себе – в отсутствие Василия.

Поскольку они никак не возвращались в дом, Василий пригласил жить Трофима с семьей. Тот охотно согласился. Однако впоследствии и с ним все разладилось. Пустяжным, зряшным образом. На Виденье привел Василий абрамковского Цыгана (так того все звали). Они втроем стали выпивать, толковать о чем-то. Керосиновая лампа стояла на краю стола. Василий-то невзначай и зацепил рукой ее – она упала на пол, и разбилось стекло. Вскочил тут Трофим – горячий был, как и папенька не родной:

– А-а, ты такой-сякой, приводишь всяких парней!..

Давай ругаться. И спешно тогда Трофим начал строиться рядом. Строился толково, очень основательно...

Когда же Василий наконец отслужился, объявился дома, Степаниде запонадобилось в суд советский (справедливый по ее соображению) обратиться с иском. Подала она туда (во Ржев) бумагу на раздел жилья, из которого она некогда в бега пускалась. Выкрутасничала она – ой!

И вскоре суд по справедливости присудил ей только одну кухню – то, что на Машу, ее дочку от Федора, полагалось здесь, но не на нее саму, как владелицу-хозяйку, пришедшую, значит, на все готовое сюда, в мужнин дом. Вот как все обернулось. Она, известно, очень прощиталась: разыграла себя такой обиженной (она умела прикинуться такой) перед обществом, перед властью и думала, наверное, что первым номером пойдет, а вышло, что сама себя наказала, высекла. После этого-то они с Машей стали в кухне жить. Отгородились стенкой от Василия. Он лишь прорезал в ней небольшой квадратик-окошко (и вставил затычку), через которое можно было наскоро сообщаться друг с другом и поделиться либо солью, либо спичками, либо мылом...

Был это 1923 год, в который Анна и Василий встретились так памятно.

XV

После такого происшествия Анна наотрез отказывалась от зажиточных неместных женихов, предлагаемых захожими сватами, – невестой она считалась в округе хорошей, видной; когда она стала встречаться с Василием намеренно и на гулянках, ей было как-то просто, легко, словно он обладал каким-то магическим свойством привлекать к себе людей. Скоро ли или нет, и он, робея и очень волнуясь, сделал ей предложение стать его женой; она без раздумья согласилась быть замужем за ним, и он несказанно обрадовался этому: в обиходе с девушками он был чересчур стеснительным и совестливым – он счел еще, что из-за его бунтарской славы (что воевал со зловредной мачехой) уж никто из здешних невестившихся девушек не выйдет замуж за него. И родители-то их будут против него... Нет, Аннины дедушка и бабушка тоже изъявили свое полное согласие с выбором внучки, которую любили. Причем дедушка по-здравому, по-жизненному рассудил:

– Счастье, Аннушка, в твоих руках – ты сумеешь с ним совладать. И здесь, в родной деревне, ты будешь еще заместо матери для своих сестричек младшеньких. Нам-то, старикам, уже не век жить-поживать, пора и меру знать.

Приданого у Анны оказалось немного, а у Василия добра – и того меньше. Гол сокол. И дедушка еще сказал с усмешкой:

– О-о, у нашей родни много везде знакомых. Пойдет по ним внучка – по кусочку наберет, проживет, дай бог!

А Василий тут же и добавил:

– И уж мне кусочек достанется-перепадет...

Так предугаданно и стало. Сестры стали заглядывать к Анне, как к матери, в ее мужний дом:

– Анка, надо это сшить-скроить...

– Аннушка, надо вот что сделать, помоги...

Вскорости свои дети родились – пошли один за другим. Люльку ей тетка Нюша дала – с отцепом. Двое ребят – Наташа и Валера – на таком отцепе качались; потом двое – Антон и Саша – на жердине, какую Василий приладил; трое потом (когда и жердинка эта прикончилась) – Вера, Слава и Таня – в кроватке, собранной им же, отцом. Раз Наташа качала люльку с Верой ногой – и так, оступившись, сама полетела, перекувырнулась и кроватку с сестренкой перекувырнула. Испугались того, что Вера станет поэтому горбатой, не дай бог; по врачам ходили, ездили много раз. Не уберегли, однако, маленького Славу от какой-то болезни – он скончался в один морозный день. Особенно морозный.

Рыцарски молодецкий, веселый и огневой Василий никогда не обижал и не унижал Анну ничем (и никому не позволял), рук не подымал на нее и не пьянствовал, как другие мужики, например, ее брат Николай; а уж работал-то он, пожалуй, за пятерых – везде безотказно попевал со своею хваткой, общественно-общительный, отзывчивый. Бывало, навезет он из лесу деревьев, нащеплет дранку, продаст ее – и, глядишь, появляется в домашнем хозяйстве нужная покупка. Это все вознаграждало. Ведь семейную жизнь свою Анна и Василий начинали фактически пасынками: без посуды, без белья, без скотины, даже без двора (двор Василий уже после женитьбы достроил и закрыл – покорячился). Василий все, что ни задумывал, готовно делал, мастерил; он и печку топил, и хлеб пек, и коров доил, когда Анна хворала.

– Ишь, какой толковый молодой хозяин-то! – с завистью удивлялся на него и хозяйственный, но прижимистый Трофим, отстроившийся здесь, с краю деревни, причем погубил – попилил тенистую березовую аллею, где, бывало, хороводились парни и девчата. Он, опускавшийся все больше в пьянство, любил по этой причине пошуметь для порядка, погонять жену и больших уже сыновей и побить в собственной избе стекла – для большего звона. Остепенился он, замкнулся и аж посеребрился, попавши раз вечерней зарей к овину (худому месту)

и не уследив, как миновал свой крайний дом, и после того как некое темное приведение здесь сообщило ему какую-то оглушительную для него тайну, наказав никому не открывать ее...

То видение явилось Трофиму перед раскулачиванием его семьи...

Анна в своей семье воспитывалась пуритански строго – нельзя (грех) петь, танцевать. А Василий, напротив, и песельником был – почти всегда работал под песню. Вот он запоет, и Анна скажет ему, что дальше нужно петь по-другому: ведь есть – придуманы – точные слова; но он ей объяснял, что иначе нельзя ему петь – иначе собьется: будет звучать не в ритм его рабочих движений. И такую причуду перенял от него и старший сын Валерий: под песню тоже строга́л рубанком.

Без Василия ничего-ничего не обходилось в молодом, становившемся колхозе – по плотницкой ли части, с ремонтом ли земледельческого инвентаря, с казначейским ли учетом или с самодеятельными спектаклями. Чтобы наладить и поднять колхозное хозяйство и дисциплину в нем, проводились ударные дни: если кто почему-либо не вышел на работу – снимались заработанные прежде пять трудовых. Так что пеняй на себя. Председатель ходил по избам – шайки у баб отнимал, если те в рабочее время (а выходных дней прежде не было в деревне) мыли к Спасу полы. И сам пример в труде показывал – работал от зари до зари. Только это покамест мало прибавляло всем достаток. Выдавали-то в колхозе лишь по пять копеек на трудовой (помимо хлеба). Поэтому, понятно, и лыжи-то для Валерия не на что было купить – их подарила ему тетя Тоня. Было тогда всякое.

Привольно жил, к примеру, в обществе сущий паразит (и не один такой) – неграмотный пастух, который не знал счета коров, которых пас по уговору, а верно знал их всех по кличкам – и когда некоторые из них терялись, он каким-то нюхом находил их в конце-концов и возвращал домой. Напьется он, где-нибудь и кувырнется. В какую-нибудь грязную канаву свалится. Вытащат его бабы сердобольные – обсушат и накормят. И назавтра он опять ползет за бутылкой, заговаривается вслух, – нужно ему насосаться снова. И ему прощалось все. А работающего соседа Трофима в 1934 году замели вместе с отпрысками, как презренного кулака-мироода, такое бельмо на глазу, и притом задарма взяли в колхоз корову, коней, шаповальную машину, граммофон. Скопом набежали любители чужого добра, с руганью делили промеж себя перины, подушки, одеяла, одежду, белье и тащили все с собой, окропляя деревенскую улицу белым птичьим пухом и пером... И в так очищенном доме открыли детский сад, а через год – школу.

Зато к ломливому родичу своему – брату Николаю, как он поженился, вступил в партию, было уж не подступиться Анне: хоть куда он засуровел, отдалился непонятно; он упорно почему-то дулся-злился, топорщился туча-тучей на родных сестер, но в особенности на двух средних. Брюзжал на них, негодниц этаких:

– Во! Вы – не ученые, а в люди выбились, в город по замужеству перебрались; а я, ученый человек, должен, получается, в земле с навозом ковыряться... Ничего себе!..

И уж даже перестал здороваться с ними. В городе, как завидит их, сразу же переходил на другую сторону улицы. Двоюродные сестры-завистницы, играя на его выдающихся чувствах, способностях и знаниях, отворотили его от родных.

Николай уже позднее, зная, зачувствовал, что нужно, припустив свой гонор, помирился хоть с Анной – и тут-то стал роднее для него и Василий тоже. Признал неровню себе! Но мужику-то с мужиком ведь проще разговаривать – меньше деликатничанья, спросу...

Однако Василий, назначенный одновременно казначеем и кладовщиком (народ ему доверял), в то время как Николай был счетоводом, вольностей ему ни в чем не спускал, требовательно одергивал его завсегда, даром, что был меньше его грамотен. Однажды тот, поехав во Ржев по казенным делам, напился и лошадь в пути потерял; его искали повсюду, а он, доплетшись до дому, завалился на печь. Василий, как взошел к нему в избу, так потрянул его с печи, что в момент выбил всю хмель из него, привел его в чувство. Вот как получалось.

По счастью, близкие, безответные и любезно-понятливые, с излучавшим дивной силой светом любви в маловыцветших с годами глазах, бабушка Дорофея и дедушка Савелий жили долго: она – до 88-ми, он – до 90 лет, пережив свою избранницу всего на год. Их уже знал, помнил даже правнук Валерий: носил, передавал им материнские угощения. Что существенно: в жизни бабушка не знала, как в больницу дверь-то открывается – сроду ничем не болела, на недомогание не жаловалась. Они оба с дедушкой жили и трудились себе на здоровье до последних лет. Только двоюродные сестры-нашептывательницы пилили и за это их внучек – Анну, Зою, Маню, Дуню – всех, кого где залучат. В церкви, случалось, исподтишка то одна из них – пиявка – приклеится, то – другая. С натянуто-скорбным, очень обиженным видом.

– Молите бога за стариков: они у вас, видно, великие грешники – много живут!

– Старики у вас истинно колдуны: все не хотят умирать! Ох-хо-хо!

Дедушка последние годы уже в колхозе работал сторожем. По 120 трудодней выработывал он в таком престарелом возрасте – не роптал нисколько. И, когда он стал совсем плох, Дуня, увидевшая это, – она, еще безмужняя, уже больше других сестер приглядывала за обоими стариками, поскольку еще жила в родительском доме, – тотчас кинулась к Николаю и снохе: умоляюще попросила взять его из темной кухни и положить в переднюю светлицу, под образа, которым дед столько поклонялся.

– Ну, ладно, сеструха, давай, – снизошел брат до ее мольбы отчаянной. – Уважу тебя. Пускай он ляжет на бок. Если он перевернется на спину, то умрет... – Вот тебе и красный офицер, и партиец, зачитывался Толстым и вроде б следовал его наставлениям, а бабьи бредни слушал, проповедовал!

Дедушка уж говорить не мог – не отвечал ему; только заморгал глазами, заслезился. И почти немедля же угас – тихо-тихо, с неведомой кротостью.

Возглавлявший колхозную ревизионную комиссию суконный, важный Длиннополов, который подозревал во всех, как стало в моде, сперва врагов своему честолюбию, а затем уж – и советскому строю, и который способен был своей и ничтожно малой властью, однако, скрутить в подобном ошеломляющем подозрении любого весельчака и балагура, бездоказательно заявлял, что Василию Кашину нельзя работать около денег, семенного и прочего фондов: растащит, дескать, все. И сколько раз он вкупе со своими надутыми союзниками пытался непременно поймать Василия на чем-нибудь, чтобы упечь того за решетку. В отместку за его активную неподатливость, популярность среди однодеревенцев и публичное острословие, т.е. попросту противные проявления для склада характера самого Длиннополова, и весь резон. Тем не менее, одно это заслуживало в его глазах суровейшего наказания. Он грозил:

– Ты – башковитый и опасный: массу народа завербовал своими побасенками. Смотри, не споткнись, не просчитайся в документах!.. Мы поразберемся!..

Частенько сама Анна, с ребенком на руках, допоздна засиживалась рядом с мужем, потевшим над платежными и балансовыми ведомостями, щелкала костяшками на счетах; она также брала ручку и, выписывая, складывая и вычитая колонки цифр, помогала ему подсчитывать, какой у него получился приход, какой расход, чтобы он не сбился как-нибудь. Она не могла дать недоброжелателям повод для расправы над ним и хотела, чтобы ему легче, лучше казначействовалось и контролировалось в финансовых делах, раз ему доверилось людьми. Это дорогого стоило.

Огненно-железный смерч, обрушенный немцами на Советский Союз 22 июня 1941 года, смел и перепыхал за четырехлетие полстраны; он выбил седьмую – лучшую – часть населения (около 30 миллионов) отчего его всякое жизнеобустройство надолго откатилось. Тому способствовала и блокада холодной войной, устроенная Западом («награда» за освобождение Европы от фашизма). А новая внутренняя катастрофа – с перестройкой и реформами – растащила

целостность и производственную основу России. Под девизом несостоятельных ее устроителей: «пусть выживет сильнейший».

XVI

Это был мокрый мартовский день на ленинградских улицах. В светлое новейшее время с еще убывающей постперестроечной горячностью в головах россиян, когда начисто размылись и сместились многие значения и понятия в жизни и также для Любви Кашиной, жены Антона, и когда она даже с некоторой веселостью вспомнила один представившейся её воображению эпизод, увидав двух вольнодумных дружков – сослуживцев своей дочери Даши. Даша и Люба подсели к юношам в стоявший блистающий лимузин – «Опель» – сладкую мечту и зависть простолудин, приводящих их оттого в легко объяснимое уныние. И тут уж никак не веселило юношеское шалопайство молодцов, заприпиравшихся на борту самолета со стюардессами, которые отбирали у них бутылку вина.

Между тем крупный Денис Снетков сорвался с места:

– Минутку! Я по-быстрому! – И устремился в солидный магазин.

Оставшийся в кресле у руля «Опеля» мелколицый Саша Залетов сказал, повернувшись к Даше:

– Знаешь, Светка Юркова пожаловалась нам: ничего не хочу, даже в Москве ничего не выбрала для жизни, придется теперь лететь в Америку...

– Вольна же, – сказала Даша. – Нынче для всех, или вернее, у всех – свои игрушки.

И Люба заметила:

– Все имеет свои последствия: и хорошее, и плохое; ничего не бывает без ничего, всем известно.

И сразу образовалась покамест тишина в салоне.

Тем временем почти мимо проходили два интеллигента несмиранных, уже сивых, тощих (будто недокормленных), толковали, походя, обшагивая по панели разрытый с осени тротуар с лужей, в которой голуби купались и даже ворковали.

– Нас преследует злой рок? – вопрошал один из них – непричесанный, носатый, в бежевой куртке-размахайке. – На бесчестье клоны, истуканы маршируют, скачут? Агрессивный стиль во всем? Фейерверки сплошь? И спасенье – в нас самих? Нельзя, Толя, так жить!

– Нельзя, Степан, – а живешь вот с чувством унижения, – говорил его спутник, с реденькой бородкой клинышком, в синем пальто и спортивной шапочке. – За нами ж – семьи и студенты. Смалодушничают – и бросить все?! Я и в Первомай пойду на Дворцовую... Чтоб встряхнуться...

– Кажись, ты коммунистом был?

– Почему же был?! Отреклись тузы: Ельцин, Горбачев и обслуга их.

– Ты запомни: серые люди имеют и серых прихвостней. На этом и КПСС свалилась. Никогда не связывайся ты с дураками. Свою глупость не знаешь, куда деть.

– Кляп с ними, Степан! Они уже откачнулись.

– Ой-ли! Начертоломили похлеще ворогов. Они вступают в партию – и ни гу-гу об этом никому, а выходят из нее – им обязательно нужно хлопнуть дверью на всю страну. С треском. Чтобы матица задрожала и обрушилась.

– Что ж, живем – нелюди, помрем – не родители.

– Наши управители бессильны что-то мочь. Мольба и раболепствие нам не помогут, хоть ты вывернись.

– А тут молись – не молись: все мы теперь заложники делег, особой породы хищников. Рычат на народ: «Не мешай! Не митингуй! Не проси зарплат и льгот!» Бесчестье – матрица желанная для них. Жертвы и не в счет... Все с лихвой оплачено...

– Все же, знать, на честь нужно мужество иметь. А душа у элиты мировой замусорена капиталом под завязку...

– Когда ж только очнутся наши власти?

– И не жди! Они не бодучие – комолые. И зачем им подставлять этот дикий грабительский капитализм? Они ж волокут нас именно сюда... Все запуталось в Москве.

– Но ты, Толя, по-прежнему есть физик-теоретик?

– В общем-то... И сейчас преподаю...

– И, что, уже не создаешь никаких особенных рогулек-растопырок?

– А-а, это-то... из области практической... Все отошло.

– И основы физики не изменились? Те же...стройные?

– В общем-то они фундаментальны. А у тебя, Степан, как у фотографа?..

– Изменения существенны. Нынче требуются навороты, подгонка под товарность, пресловутый евростандарт. Забудь про мастерство и человечность! Покажи-ка необузданность, дикость. Вот изюминка, смотри! – Степан указал на два глянцевых витража, выставленных на панели рядышком: на одном изображен был мордастый, мелкоглазый и щетинистый детина – он, безобразно скалясь, требовал: «Хочу экзотики!» На другом – то же самое уже требовала какая-то отбеленная, обстриженная и еще противнее оскалившаяся девица. – Подобных шедевров я, старый мастеровой, попросту страшусь.

– Здравствуйте, Анатолий Павлович, – неожиданно поздоровался с ним (и кивнул его спутнику) вывернувшийся откуда-то юлой розовощекий и длинноногий парень в куртке, наде той нараспашку.

– Приветствую тебя, Денис Снетков! – узнал сразу профессор своего выпускника. – Как ты? Где работаешь?

– В одной фирме. Американской.

– Значит, физику отмел? – И профессор отмахнул рукой.

– О-о, с ней не проживешь теперь! До свидания, Анатолий Павлович! Я спешу. – И удалец скрылся за углом.

Оттого, прихмурясь, Анатолий Павлович, даже забыл, что же им конкретно надлежало купить. Спросил у Степана, и тот напомнил ему:

– Не то розетки и глазки к двери металлической, не то кран-буксу к раковине, т.е. к смесителю.

– Да-да! А зачем то, се?

И, так бормоча, они шагнули в самораздвинувшиеся перед ними стеклянные двери супермагазина.

Между тем Денис Снетков вплюхнулся в автомобиль. И как пропел от расправивших его чувств – ну, совсем приятный всем щенок, виляющий хвостом, – другу Саше Залетову, сидящему за рулем:

– Нажимай, гони на Невский! Не думай, не считай, не жалея и не женись! Давай! Шуруй! Успеем аккуратненько к столу... Есть подарочек! Гульнем!..

Чернобровый Саша с улыбкой собственника газанул, голуби взлетели; машина, всплеснув лужу, шелестнула по асфальту. Понеслась. Денис Снетков, заметим, был правнуком некогда раскулаченного Трофима. Того в тридцатые годы вместе с сыновьями сослали в Кузбасс, и они в шахте десяток лет добывали уголь. Выжили. А после войны он с семьей переехал в Торжок и на неплохо заработанные деньги купил тамошний дом. Денис же подался в Петербург учиться, женился и остался здесь.

– А как же, Денис, жена молодая: она, верно, одна с маленьким сыночком мается? – тут не выдержав его легкомысленного витийствования, обратилась к нему Любовь Павловна, сидевшая рядом с Ириной на мягком заднем сиденье: она знала уже лично этих ребят, которые вызвались попутно подвести их по нужному адресу.

– Так вот... она привыкает к совместной жизни, – сострил Денис. – Я ей денежки даю... Все чин-чинарем...

– Вообще, откупляетесь?.. Решили поступать по-мужски?..

– Да тоска это зеленая – сидеть сиднем дома! Представляете, я только что столкнулся с вузовским физиком – Анатолием Павловичем Степиным. Он приветлив, но весь исхудал, в плохонькой одежде. Жаль его... Как-то поразил меня.

– Вы, Денис, институт Электротехнический кончали? – быстро спросила Любовь Павловна.

– Да. А что?

– Так это был мой брат Анатолий! Фантазмагория какая-то!

– Он подходил как раз к супермаркету, очевидно, с каким-то своим знакомым. Вот ни за что не думал, что он брат Ваш...

– И будто, судя по всему, Вы когда-нибудь серьезно думаете о чем-нибудь. – И Кашина и ее дочь, не удержавшись, прыснули со смеху.

И было от чего.

XVII

Эта неразлучная парочка неприлично оскандалилась на той неделе, летя в салоне самолета в США (собственного бизнеса ради). Да все обошлось благополучно. Ирина узнала про то по Интернету и словесно потом от самих виновников произошедшего: они охотно, с юмором рассказывали ей о своем приключении с добавлением всяческих подробностей (а она поведала о том своей матери). Вполне же естественно, что они, такие свойские незакомплексованные ребята, прилично выпили еще в аэропорту; а в салоне лайнера лишь добавляли по чуть-чуть из прихваченной с собой бутылки. Непонятно, из-за чего возник весь шум. Они ведь ничего зазорного себе не позволяли, не мешали никому. Да неразумная стюардесса-финка (самолет принадлежал финской авиакомпании) привязалась к ним – и пробовала остановить их желание. Они, разумеется, не вняли ее просьбе. Тогда она потребовала отдать ей бутылку. Еще чего! Они отказались наотрез, и она стала отнимать ее у них. Поднялась буза-буча.

– Ну, нет, дорогушечка хорошая! Отстаньте... Брысь!.. Сгинь!..

– Что ты пристала к нам, право?.. Это ведь наша собственность.

– Да, и что хотим, то и будем с ней делать. – Их понесло.

– Еще и заснимают нас! Уберите от нас свои личики бесстыжие!

Эти фотокадры и появились в Интернете. Но уже по прилету в США напарники протрезвели полностью. Они прилетели сюда только для закупки очередной партии легковушек с целью реализации их затем в России по более высокой цене и тем самым – получения очередного навару – прибавку к зарплате. Так, оборотистый отец Дениса и он сам нажили сначала немалое имущество, занимаясь до дефолта перекупкой и перепродажей квартир, еще не подорожавших в те годы, и лишь позднее освоили этот перекупной автомобильный бизнес, расширивший их возможности. Надо было по-умному шевелить мозгами.

Люба знала, что и два московских племянника Антона – сыновья его сестры Веры, – поддерживали свой бизнес перекупкой кое-каких ходовых потребительских товаров. Стихийно возникла своеобразная челночная деятельность различных лиц, поскольку в стране после 1991 года профессиональные рабочие в большинстве своем были уволены и изгнаны с предприятий, которые разорвались и закрывались.

– Однако отчего ж вы, ребятки, не щадите себя, своего здоровья: беспробудно пьете и пьете? – спросила Кашина с пристрастием. – По любому малому поводу и без него. У вас же, таких молодых, очень приличные заработки. Ах, нам бы такое в наше время!..

– Нам нужно, наверное, Любовь Павловна, время от времени расслабляться, чтобы мозги отключать и освежать, – попробовал пояснить Денис. – Мы, программисты, день-деньской сидим за компами и разбираемся в малопонятном коде очень покупаемых программ.

– Так, может быть, у вас, профи, есть неудовлетворенность от столь специфической, но зрительно неощутимой работы?

– О, не бойтесь. Уже и могила нас не исправит, и не отлучит от компьютера. Да и когда каждый месяц на твою банковскую карточку падает пара-тройка тысяч, понятно, что не рублей, слово «неудовлетворенность», хм... как Вы понимаете, не про нас.

– Ясно, ясно, мальчики. Я молчу.

Очевидно, выходило по их представлению, что их высокий уровень познания в своей сфере творчества и возможностей для этого, в том числе и важных материальных, как ни у кого, вполне соответствовал их мировосприятию и молодецким желаниям. Они и так объясняли свои шалости:

– Вон наши куркули совсем не терзаются, даже радуются, что обкрадывают не еврейское, а наше государство на многие миллионы долларов, – говорил Денис, – и вкладывают бабки эти в экономику и недвижимость нероссийскую. В наглую. Открыто. А мы-то здесь, на Родине, пускаем деньги в оборот.

– Мой отец заделался вдруг политологом, – говорил Саша.

– Предсказателем?

– Сродни тому. Втемяшилось ему в голову. И удачно. Всем это нравится. Спрос растет. Он увидел, что можно припеваючи жить, ничего не делая, если только занимаешься пустословием. Только ври и ври, ври и ври. А гляньте-ка сюда: еще один громадный рекламный щит «Люби бесплатно»? В той рекламной фирме классно работает мой знакомый парень. Знаете, прежде он гнал клубные плакаты за мизерную оплату. А теперь на площадь такой щит провернет – и тебе оплата такая же, как примерно за год в клубе. Чуете? Жить можно. Да, дизайнеры шагнули в этом отношении очень далеко. Конечно же, жаль нам бедных стариков...

Как интеллектуалка-единомышленница дочери, Любовь Павловна понимала и разделяла ее пристрастия, наклонности, а значит, и чувства молодых ребят, ее сверстников, пусть и разбитных, женатых, неважных покамест отцов. Она умела, и дать им нужный свет и помочь. И чем удачливей складывались у дочери дела с работой (что касается мужчин она позднее разберется) и она могла обеспечивать свою жизнь заработком спокойно, тем спокойней, уверенней Любовь Павловна чувствовала себя, как мать, в роли ее ближайшей и единственной наставницы и как женщина – в роли все прекрасно видящей и совершенно знающей все, что неподвластно никому, никакому доброхоту. Да, что касалось мужчин (для дочери), то наличествовал стойкий дефицит их, толковых, достойных, образцовых – и даже среди американцев (по отзывам), обеспеченных материально очень высоко. Как и везде, к этому привел упадок культа мужчин и морали.

И теперь, поговорив накоротке с молодыми людьми с легкостью искусной собеседницы и оставшись после этого наедине с самой собой, она немало подивилась стечению обстоятельств, связавших чем-то между ними Дашу, Дениса и своего брата Анатолия. Она мучилась в душе, что он уже несколько дней не звонит ей.

Это она уже по привычке семейной закантачилась, что называется, на опеке над ним, старшим, вроде бы незащищенным, лопоухим, как и в отрочестве, братом, когда она, девочка, буквально телом своим загоразивала его, защищая, от кулаков хулиганов; его, своего любимца, вечно опекала и мать, Янина Максимовна, тревожилась о нем: где он? что с ним? Мало того, она просила всегда даже зятя, Антона, приглядывать за ним, уже взрослым, мужиком, как за малым, на отдыхе ли они вместе у моря, на даче ли, во время ли праздничного застолья... Смешно и нелепо! Год назад его жена Марина погибла мгновенно: ее сбила невесть откуда налетевшая автомашина. И его зацепило, швырнуло на наледь. Но, к счастью, он не постра-

дал серьезно. И эти-то дни, и потом Любовь Павловна неотступно помогала брату, готовила ему еду, бесконечно обихаживала его, разговаривала его, что-то советовала ему, хотя у него были две замужние дочери и их большие уже сыновья и дочери, жившие со своими семьями отдельно, и они, занятые своими делами, почти совершенно не общались с ним; им было просто некогда это делать и незачем, находили они. Они говорили:

– Тетя Люба, отвянь; ты его не знаешь, притвору; поверь, ничего-то с ним не делается.

Что удивляло при этом ее пугающе: дочери и к отцу, как и к матери, когда та была живой, относились с очевидным прохладцем, почти с равнодушием, если не сказать большего. Это-то – к родителям, вырастившим их! Не такие черствые, обезличенные – слава богу! – отношения всегда строились, есть и продолжают у нее в общении с дочерью Дашей.

И, прежде всего мудрые родители, считала она, должны сами создавать в семье живительный климат, чтобы дети никогда не шарахались от них прочь.

Опять раздосадованная, она, не стерпев, рассказала за ужином мужу о раскрепощенных знакомцах дочери. Притом вновь ругнула не только условия, при которых в молодости она работала, а вечером училась в институте, а больше ругнула коммунистов и страну за то, что получала какие-то жалкие рубли. Так уж повелось у ней. Среда корчилась, не давала никакого спокойствия. На кухне, например, где она готовила обеды, день-деньской долдонило радио; в эфир потоком выпускались самые-самые будоражающие слух и пробирающие до печенок материалы и суждения о недавнем проклятом времени. Допускалась свара среди думцев, политологов, эстрадников. Поддерживалось не осмысление истории страны, а надуманный раскол в обществе; трезвого мнения нормальных рядовых рабочих и крестьян, делающих прекрасно свое дело, не было слышно.

– Это наш прапрадед, французский солдат, виноват, что не уехал из России в тысяча восемьсот двенадцатом году, а приبلудился в Рославле – родине моей прапрабабушки и матери. – Люба активно эксплуатировала эту идею для подчеркивания своей исключительности в этом плане и обоснованной любви ко всему французскому, хотя никаких свидетельств этому не было. – А как бы могла я пожить без оглядки во Франции!.. И давно – ты помнишь? – я предлагала тебе уехать, да ты воспротивился: «Как можно такое?!» Вот теперь и сижу по твоей милости у разбитого корыта. С ничтожной пенсией. И страхом...

– Ну, положим, разбил корыто, прежде всего не я, – заметил Антон рассудительно, – а твои метания, поиски кумира.

– Чушь! Какой кумир! Когда и до меня тебя оставила девушка, ты сам признался... Значит, неспособен был обеспечить... – уколола она его.

– Выбор был за тобой. И потом: я всегда давал тебе свободу.

– Я тогда не соображала, и вижу теперь, что вышла за тебя не по любви; я от родителей спасалась, искала защиты от отца.

– Черт знает, какие претензии выставляются. Чем дальше, тем хуже. Воинствующая расхожая модель жертвы обстоятельств. Сильней помнятся мелочи, перевираются слова, а свои поступки напрочь отменяются. Люба, уж столько было говорено об этом. Давай обойдемся без ругани. Ее и без нас хватает.

И они разошлись по своим углам.

XVIII

Заблуждаться волен каждый человек и считать себя непогрешимым. Но какова тому цена?

С залива по-апрельски туманило, и еще белел полоской вдоль берега лед-припай, когда Антон Кашин – до того, как отбыть ему домой из курортной зоны – писал этюд. С веток сосен капало, и под ними темнели песок и дорожки меж рассыпанной влажной и сочно-красочной

прошлогодней листвы и зеленевших ростков травы; капельки унизывали иголки на малюток-сосенках, жемчужно переливались в свете дня. Неприкаянно бродили отдыхающие на просторе. У воды летали и кричали чайки. Гулко кричали и дети, которые оравой высыпали на прогулку вместе с учительницей и бегали – бегали там, по приятно уплотненному после зимы пляжному песку.

Антон, взявшись за краски, слышал из-за куста с лопающимися почками осудительного свойства разговор женщин, сидящих на скамейке-качалке, стоявшей на полянке.

– Мужчины, они все, как есть, изрядные нытики. Стали такими.

– А я думала: только у меня. И у Вас, значит, тоже?

– Ну, занозит палец – и сразу умирает.

– Неужели?

– Да, умирает до того, что хоть неотложку вызывай.

– Ах, ты, неверная сила!

– И причем – оригинальный самец. У него спрашиваешь: «Где мыло?» Отвечает: «Оно на берегу лежит». То есть – на краю умывальника.

– О, прелесть, какая!

– И стоило ли нам, бабам, огород городить? Чтобы найти маленькую жемчужинку, нужно лезть на дно морское...

– Воистину!

– Как чего отклеит – ой! Хоть стой, хоть падай.

– А посмотрите: сейчас подражательство во всем – главное. Какое-то однообразие. Пить пиво из бутылочек в автобусах, ходить везде с бутылочкой, как с соской и прикладываться к ней на глоточек. (Это ж ненормально, не от жажды ведь). Нет ответственности ни у кого, мужского достоинства, лишь внешний лоск. Выкручивайся сама или сам, как можешь...

– Разрешите посмотреть. – Очень скоро подошли к Антону двое еще молодых людей, поздоровались. – Вам не помешаем?

– Еще нечего смотреть. – Он был нелюбезен. К тому же торопился.

– А это что – так синей краской и будете работать? – Более активно спрашивал тот, что был постарше и пониже ростом.

– Ну, вот и начинается допрос... «Вы – настоящий художник или любитель?» Я пока только набросок делаю.

– Но ведь многие нынче, выходя на пенсию, начинают рисовать...

– Мне негоже... в мои годы. Я – профессиональный художник.

– А зачем это делаете? Природу любите?

Короче, затевался подошедшими незряшный разговор. Низкорослый мужчина достал из сумки журнал:

– Я Вам прочту, как замечательно тут написано о природе... Вот эта фраза... Послушайте... – И он попытался прочесть.

– Да отлипните вы от меня! – возмутился Антон по-настоящему. – У меня нет ни нужды, ни времени слушать вас!

– А может, оставить Вам этот журнал? Прочтите: никакой политики тут нет.

– Для чего?

– Вы – верующий?

– Скорее – нет. Хотя и крещеный.

– А «Библию» Вы знаете? Читали?

– «Библия» не для нас написана. Это как расчетливая бухгалтерская книга, где по полочкам разложены мораль и торг.

– В чем же?

– Ну хотя бы в том, что бог хвалит Моисея за то, что тот уничтожил, кажется, сорок тысяч мирян. Так какая ж это религия?!

– Но ведь это был плохой народ, ужасные люди. И один пророк так и сказал, что бог прав: это нужно было сделать.

– Ого! Вы – адвентисты? Высадились здесь десантом?

Те стали горячиться.

– Много лет назад мой отец пел: «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой, ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой». Идите-ка отсюда, не морочьте головы...

– Здесь местечко Вы облюбовали! – к Антону приблизилась изящная и отменно одетая Галина Петровна, особа средних лет, желанная компаньонка по санаторному столу, приехавшая с путевкой из Орла.

Именно в столовой, за обедами они, четверка их, отдыхающих, – она, Кашин, а еще дружелюбный оперный певец в летах Юрий Леонидович, чуть полноватый, но по-мальчишески подвижный, и радушная домохозяйка Нина Ивановна, – отлично познакомились друг с другом. И живо обсуждали всякие события и темы, встречаясь, и в часы парковых хождений-блужданий и при ожидании предписанных врачебных процедур. Галина же Петровна была тонким, превосходным собеседником, тактична; она искренно любила литературу, театр, чувствовала музыку и живопись классического направления. Ходила прямо, независимо. Доверившись Антону, она сказала, что они с мужем по контракту несколько лет пробыли в Тунисе. Жили в посольстве.

И она же умолила Антона продать ей один только что написанный им живописный местный пейзаж, а он, расщедрившись, пообещал привезти ей из дома еще и другой, который должен был понравиться ей.

Запросил он за свои работы гроши, чтобы хотя бы покрыть стоимость краски.

– Сейчас допишу – и на маршрутку, – сказал он. – Съезжу домой на ночь.

– А про обещанную мне картину не забудете? – Она улыбнулась.

– Что Вы, Галина Петровна!.. Помню... Она – любя мне. И особенна. Вот увидите! Писал я ее в Подмоскowie по сентябрю, гостивши у младшей сестры. На ней – утренний луг полуседей. В ожидании. Вблизи, в травянистых зарослях, – бутоны, шапки соцветий, живые и потемнелые, – и на всем этом понизу висит-провисает лодочками блестящая паутина с дождевыми каплями. Дрожащими. За ними – стайка нерослых березок и разлапистого кустарника с желтеющей прядями листвой. И над ними, березками, над дальним лесом с поволокой низко плывет, бледнеет в светлых развоях неба диск луны. Так было в природе.

– О, я буду очень рада такой картине! Вы так ее расписали!..

– Стараюсь! Мне теплей в душе от этого, что-то прибавляется, если отдаю ценителям искусства что-нибудь исполненное мной; они, верю, не обманутся в моих работах, как союзниках своих; пусть себе праздношатайки лезут, каркают: «А зачем? Для чего Вы делаете это?»

Собеседница в ответ улыбнулась понимающе.

– А наскучат Вам мои пейзажи – ну, пожалуйста, долой их со стены, и все! – заключил он всерьез. – Говорю так всем. По справедливости...

XIX

Справедливо вело духоравновесие Антона – оттого, что он, и посев, старательно не предавался ни тоске, ни праздности какой и не подводил людей, что все живописничал по-доброму, без лихости и без сухости, возился с красками и рамками и картины выставлял на обозрение и что, важней, наверное, всего, исследовал писательски материнский дар (и не волен был не писать о том), – он, в плащевой курточке, в кепке, прикрывавшей лысину (от дождя

случайного), ладно топал сквозь пахучий сосняк, как его точно что толкнуло, и он чуть ли не споткнулся.

Быть не может! Но могло и быть такое-то на Земле!

С удивлением он глянул вслед блондинки, в пестрой шубке, шедшей впереди него; неосознанно предположил: верно, память, зацепив, повлекла его само собой за ней... Эта дама столь напомнила ему внешне его бывшую пассию – Ольгу, но которая предстала перед ним неожиданно – спустя десятилетия – уже в году девяностом...

Антон заспешил. Под ботинками сухонькие веточки, иголки валежника продавливались и похрустывали. Меж тем незнакомка шла – даже не оглядывалась. И когда он, поравнявшись с ней, заглянул в ее отчужденно-незнакомое лицо, она посмотрела на него с видимым недоумением. Он, вклинившись вдруг, должно быть, помешал ей распутывать наедине с собой какие-то нерешенные проблемы; ведь никто из горожан, мысленно уединяясь здесь, на природе, никуда не спешил и не суетился бестолково. Расслаблялись все. Для здоровья.

«Вот выперся! – подосадовал он на себя: – Невесть что вообразил себе! Совесть тронула? И с чего она?.. Еще свербит?..»

Да и старец светлоликий и глазастый, сидевший с посошком, как путник, на солнечной приаллельной скамье, под сосной, тоже с явным подозрением глазел-глазел на него и неодобрительно покачивал головой; его глазами Антон осудительно смотрел на все свои промашки и легкомысленность при нестоящей, знать, активности.

Кто-то все послеживал, поглядывал за ним – и легонько пристыжал его? В девяностом же году, осенью, он по-глупому поддался на правдоподобную уловку Ольги. Было, что она-то, русистка с уже свыше чем тридцатилетним стажем, разыскала номер его телефона и, созволившись с ним, но, назвавшись некой профсоюзной дивой из Обкома профсоюза (он не узнал ее по голосу), хотела якобы срочно уточнить (и якобы по чьей-то просьбе) кое-какие личные вопросы о нем, поскольку он нигде не числился в штате служащих, а был нештатным художником-графиком, и договорилась с ним о деловой встрече возле театра Мариинки.

Он поверил. Он приехал. Ей затейство удалось.

– Да ты прохиндейка, голуба! – возмутился он, подходя к театру и разглядев именно ее, ожидавшую его, – малоузнаваемую, располневшую, видно, после родов, не ту юную, хрупкую Оленьку... Лицо у ней округлилось, глаза как-то помельчали, потускнели, были сытые. – Не могла ты без обмана обойтись?! Что за конспирация, скажи? Для чего я тебе нужен?

– Извини, мне захотелось встретиться с тобой здесь, где мы увиделись впервые; но я не была уверена, что ты согласишься. – И Ольга залепетала как ни в чем ни бывало о чем-то невразумительном: – Мне кто-то говорил, что ты насовсем переехал в Москву, поближе к сестрам своим, и я думала проверить наговор...

– Придумки все! – Антон был сердит. – Видишь: я – живой! Не утопился, не повесился... после расставания с тобой... Не было на глупость ни минутки времени.

– Да, мы свадьбы не затеяли – и ты с жалостью отпустил меня... Хотя не хотел...

– Был зелен, неумен и глубоко неправ; если в чем-то ты бессилен, чувствуешь, – тут незачем вести философские беседы... Ты давно – и скорей, чем я, – определилась. Разбираться нечего... Ну, и как живешь? Вижу по нарядам, что довольна... Рад, что не заблудилась...

И, пока они прохаживались вдоль канала, шурша листьями опавшими, Ольга сообщала ему впопыхах о том, что ее муж, директорствовавший в школе (куда Антон – надо же! – и устроил ее, Ольгу, учительствовать по окончании института Герцена), – ныне спортивный комитетчик, босс (номенклатурщик, значит) и что их сын почти двухметрового роста, что и отец, с тем же зычным голосом, уже служит офицером. А она успела объехать же полмира. Побывала в Париже, в Риме и в Нью-Йорке, и в Греции даже.

– Да, Оленька, живем уж так, что Родины своей не узнаем и не хотим ее признать, – вырвалось у Антона. – Растрепанные все несемся в Париж... Надо прошвырнуться, засветиться

там – потрафить эгоизму своему... Мотаемся в погоне за чужими красотами, а свои заплываем, топчем их. Вы что – шибко голые? Дворники или поэты? Завидуете тому миру, что попрличнее одет?

– Ну, уж скажешь ты! – обиженно надула Ольга щеки.

– Но тебя ж прельстила, видимо, безбедность твоего существования? И теперь ты норвишь лишь похвастаться этим-то передо мной? Однако я плохой коллекционер всяких «ахов». Лучше-ка скажи, как родители живут.

– Папа давно умер. – Ольга привздохнула. – Шел из бани – простудился. Схватил воспаление легких...

– Сочувствую тебе и Зинаиде Ивановне... Она одна живет?

– Мы ее не оставляем... И возьмем к себе...

– Одной-то ей горестно, знать...

Поздней Ольга растерялась от свалившихся на нее несчастий и невзгод.

«Жизнь проблематичная, – рассуждал Антон сам с собой, шагая по дорожке. – Отчего ж мы сами себя обманываем и обманываться рады? Бродим в потемках осознания, ровно в тупиковом сне, пробираясь по каким-то заброшенным лабиринтам; вокруг веет сыростью, затхлостью и забвением. И видишь сутолоку, перебинтованного морского пехотинца – вроде бы безумного Костю Махалова и бегущего со страхом во всю прыть капитана первого ранга – с рапортом и честью к адмиралу; и видишь тут смеющуюся Ингу, жену Кости, тоже уже почившую... А такое и привиделось потому, что беспокоен-таки напарник по санаторной комнате... Не повезло...»

На тебе – рабочий-заточник, но поступал, как таежный динозавр; он первые три ночи вообще будоражился – почти не спал; много кашлял, непрерывно выходил вон, чтобы покурить, и входил, щелкая дверью и щеколдой; шумно двигал конечностями, задыхался, запивал водой из графина лекарства. Как вскоре он скупо объяснил, он нипочем не может сразу попрыгнуть к новому месту ночлега, словно подвергается пытке. Да и потом он вел себя шумливо, дико, как бы не замечая никого (не здоровался по утрам, не прощался ни с кем), лишь звуками давая всем знать о своем земном существовании.

По аллеям этим еще в тридцатые годы легко похаживала молодая Янина Максимовна, учительствовавшая Любина мать.

Странно, что Антону также приснилась Инга. Повод – тоже ее вспомнить?

Да, как-то раз в мае к приехавшим сюда, на пляж, на денек Антону и Любе присоединилась целая орава знакомых: Костя Махалов с Ингой и сыном-подростком Глебом, их родственники и Ефим Иливицкий со знакомой Майей. И вот было, что за пляжной трапезой, когда все болтали непринужденно, кто-то заговорил о супружеской верности, а Люба с веселостью и рассказала без всякого умысла о том, как однажды (в период своей размолвки с Антоном) она зашла в «Север», чтобы пообедать, и что же она увидела тут: невдали, за столиком, – ее верный, нежный Антон с приятелем в обществе какой-то девицы! И они-то всячески ее обхаживали! Вином потчевали!

– И, конечно, мой Андрей был там? – вспыхнула Инга. – Уж признайся!..

– Нет, не знаю, кто, – опомнилась Люба. Они взаимно недолюбливали друг дружку с самого начала их знакомства. Инга была ревнучей – ужасно. Ей льстило, если вокруг увивались ухажеры; но, не дай бог, если в роли ухажера других женщин (как и бывало) оказывался собственный влюбчивый муж, которого она не любила, а воспитывать – воспитывала по-своему, зная его слабости. И поразительно: он, удалой товарищ, храбрец и остряк, невиданно пасовал перед ее напором и скандалами по пустякам. И теперь он нервно молчал.

– Ну, и что ж ты, Люба, сделала, увидав такое? – спросила Инга с вызовом.

– А ничего. Полюбовалась на них. Пообедала и ушла.

– Нет, не признаю! – воскликнула Инга, состоявшийся юрист как-никак. – Я бы подошла к их столу, дернула за скатерть и всю-то еду и питье опрокинула на них. Знайте, мол, ревность...

И все рассмеялись от этих ее откровенных, несдержанных слов.

– А ты еще говоришь, – сказал под смех Антон Любе, – что пора всю власть отдать в руки женщин... То ли у нас будет!..

Даже сама Инга засмеялась, оттого что переборщила малость...

Тем не менее, сейчас Антона волновали многие несоответствия житейские.

XX

В предвечерний час, как Антон приехал домой, новенький, гладенький и вылизанный хвостун, что яичко (прямо ж гоголевский щеголь), давал телеинтервью, сидя за черным столом, перед стильно причесанной журналисткой; он бойко, с блеском глаз, хвастался тем, насколько полезны они, избранники, слуги народа, наблюдают за законностью действий городских властей. Они, все сами видят, понятливы, демократичны и интеллигентны – на заседаниях своих не дерутся, в отличие от думцев, на кулаках и не таскают за волосы женщин. И достойны великого города, не позволят ему пасть безответственно – без власти надлежащей, уж будьте спокойны!

– И где только пекутся такие персоны?! – У Антона даже испортилось настроение надолго. Он выключил телевизор.

К тому же добавилось и Любино саможалейство. Она вновь сказала:

– До чего надоело так жить! Вижу: дура я набитая, что три десятилетия назад, когда у нас не было еще дочери, не уехала в Германию, чтобы пожить нормально, припеваючи, как советовала мне Ксения, сослуживица; она-то, молодец, сумела и детей – дочь и сына – туда выпихнуть и сама успела, бросила в Ленинграде все. Правда, все-таки продала квартиру...

Антон уж не вздохнул, а само собой у него аж задержалось дыхание: худшего сожаления, на его взгляд, она не могла и придумать! Ведь в сорок первом, когда наподдали немецким войскам под Москвой, он, двенадцатилетний малец, язвительный перед врагами, трусливый, но не плачущий вовсе, стоял возле колодца, у своей избы, под прицелом у взбесившегося закончешшего на морозе гитлеровца, который все не мог палец просунуть к спусковому крючку карабина... И столько варварств немцам он с тех пор не мог простить ни за что. Никогда!

Но Люба ничего подобного не хотела знать и слышать – она относилась ко всему, что касалось мужниной жизни, настроений и даже творчества, как к потусторонним, частью придуманным или неудачно предложенным свыше, а потому незначущим, непривлекательным для нее явлениям, ничего ей не дающим; ее быстрые умонастроения и умозаключения двигались в иной плоскости пространства и пересекались с пространством мужа лишь в сопротивлении их понятий о жизненном благополучии. Особенно ныне, когда все из этого обозначилось ясней.

Она продолжала развивать свою мысль:

– И мама моя, почти дворянских кровей интеллигентка, получала за свое учительство пенсию в пятьдесят рублей! Насмешка, и только! Хотя при НЭПе они, будучи студентками, могли не только пропитаться на стипендию, но даже и приодеться прилично... Она нам рассказывала...

В нынешние самокритичные времена Люба, высказываясь перед Антоном умно – радикальнейшим образом – почище всех ветхозаветных революционерок – и чаще нелестно вообще о прошлом, – могла многое из жизни и ее матери и отца, которого она не любила, преувеличенно облагородить или совсем низвести по какому-либо поводу. Она словесно, не выбирая выражений, не церемонилась ни с кем, если что не нравилось ей или просто обсуждаемый человек не в том, по ее желаним, загоне уродился и даже ходил не так. На этот счет никто не должен был заблуждаться. Никоем образом.

Да, Янина Максимовна Французова, не сословная дворянка, а мелкопоместная купеческая дочь, была артистичной, восторгавшейся и прекрасной до преклонных лет натурой и охотно рассказывала о своих занятных приключениях в молодости. И она была тоже недовольна тем, как сложилась у нее вся жизнь, предполагавшейся быть взаимно любезной к ней, как она сама, по ее понятию.

В 1920 году умерла мать Яны, и пятеро уже подросших детей остались на попечении отца и старались сами определиться в жизни. Яна, не закончив вторую ступень (с 5-го по 10-й класс) церковно-приходской школы в Рогнедино (село под Рославью), где два раза в неделю изучали закон божий, перешла на учебу в гимназию. В 1922 году, закончив ее, уже училась в Смоленском университете, куда ей дал направление профсоюз, и где все факультеты были с педагогической направленностью. На следующий год университет закрывался. Группа однокашников Яны поехали учиться дальше в Москву, в том числе и ее суженый, как все судачили, Никита Збоев, которому она симпатизировала больше, чем другим парням.

Душевный, дружески расположенный к ней Никита звал ее с собой в Москву, однако она почему-то поехала в Петербург – перевелась в тамошний институт Герцена, на 2-й курс исторического факультета (литературного здесь не было).

XXI

Для нее, двадцатилетней Яны, казалось, пришло переломное 1924 года – время исполнения ее желаний. Было у нее теперь такое чувство.

С ним она прогуливалась около Таврического сада, и ласковый ветерок лизнул ее в лицо и всплеснул над ее головой малахит вырезных листочков лип, а, может, оттого всплеснул, что какой-то шествующий молодчина задорно скомандовал:

– Сомкнуть ряды!

Никакой же такой гулко топающей гвардии вблизи не наблюдалось. И даже иные прохожие буквально вздрогнули от столь резкой бессмысленной команды, заставшей их врасплох; и один из них – здоровяк – немедля не меняя своего движения, как локомотив, беспощадно бросил вслух:

– Идиоты долбаные! Что орут!

– Ходят тут оторвы с Невского, – добавила плывущая гражданка в рюшечках. – И ведь не шлепнешь: брысь! Ить не крысы же какие...

Яна прыснула от смеха.

А троица парней (с книгами под мышками) упражнялась в словах:

– Пардон! Пардон! Спешим догнать розочку на каблучках...

– Нас, студентиков, не понимают, истинно! Но признают... Прогресс!

– Итак, спросим: может ли любой – всякий Вась-Вась понять новоявленный модерн, максимализм в искусстве? Уверяю: нипочем! Тогда для кого ж это цветет?

– У публики, пардон, отсутствует сообразительность. И мера вещей...

– Чудненько! Шпарь искусствовед заштатный... Наш супрематист...

– Уж уволь меня, Илья, – я не могу домыслить за кого-то жанр. Бездна опрошения в картинах: совмещения с предметом нет и плоти живописной нет – плашки, рельсы вкривь и вкось положены, круги... Мысль не уловить... «Богатыри – не вы!» Увы!

– Да ты, Гарик, восхищаешься мозговитостью своей... Но ведь, кажишь, и селедка в натюрморгах есть? Не так ли?

– Послабление, как ни крути... Соблазн обывательский...

Молодые люди, вероятно, побывали на какой-то художественной выставке.

– Вон в том магазишке...Мы селедочкой разжились. Шик! – Подмигнул и, заплетаясь языком, попутно сообщил, как добрую весть, проходящий наперерез в компании подвыпивший работяга. – Эй, селедочку не урони! Сейчас мы ее с лучком, с постным маслицем... Закачаешься... – Предвкушал он скорое удовольствие. – А может, и вы того... Примкнете и пригубите? Я – Василий...

– Нам некогда, отец, Вась-Вась...

– Не робей, ребятушки!..

Опять смеясь, они прибавили шаг.

– Мы все – в постмодерне (началось то еще при царе) и жуем его, – объяснял, горячась Гарик. – Все трубят, изошлись по этой части: строим, дескать, новое счастье, долой старую форму. А середины-то в искусстве нет: либо зашифровывается суть вещей, либо расшифровывается донага. Меры-то изображения нет. Она пропала начисто. Хотя нам и говорят: подождите. Новому времени – новые песни. Все уляжется, еще преобразуется само.

– Это же палят мимо яблочка, – говорил спокойно Илья. – И такой экспонат не выставишь в храме, где молится народ. Что ж тогда профессионально должна быть и преемственность? Время доказало.

– Ну, а ты, неведомая куртизанка полосатенькая – ты гуляешь сама по себе или в постмодерне? – нагнали они идущую Яну. Она, в сарпинковой блузке с широким поясом и в легкой кремовой шляпке с чайной розочкой в ленте, в туфельках, изящно выступала под сводами крон деревьев и, услышав, вернее, сообразив, что на ней сосредоточено чье-то доброе внимание, еще чуточку подождала деликатно, не спешила открыться. В юности свойственно все принимать здраво и верить в свои силы, особенно тогда, когда в жизни складывается все удачно и появляются друзья-единомышленники и почитатели, будто ниспосланные небом.

– А-а, это вы, языкастые рыцари, как всегда балагурите? – Отозвалась, огляделась Яна. – Обсуждаете проблему жития святых или крестовых походов?

– Ни то, ни се, подружка, – сказал Гарик. – Мы вовсе не святые угодники. А стараемся поухаживать за теми, к кому у нас сердце стремится.

– Да, прямо выпрыгивает из груди, вот, – добавил Лева.

– Ах вы, невинные угодники! – Она погрозила пальцем. – Я девушка слабая, беззащитная...

Правда, правда: у этой троицы молодцов росло к Яне особое отношение; она стала для них как бы недостающим звеном в общении, в определении самих себя. У ней был какой-то шарм, с ней у них завязывалась своеобразная компания; с ней им, думающим, рассуждающим по всем аспектам бытия, было веселей, уютней и порядочней. Они чувствовали себя мужчинами и умницами, которых она не отвергала – привечала равным себе образом. Открыто. Не рисуясь. Они все сообща могли обсуждать свои проблемы и дела. Надо сказать, в их студенческой среде царил культ внешнего ухаживания. И все, что было связано с этим, воспринималось ими, ребятами, естественно, не ревниво, весело, как и подобает молодым, приветливо настроенным друг к другу, не подверженным чопорной холодности и замкнутости.

– Ну, что ж, занятия наши горят синим пламенем?

– Наверстаем, не дрейфь! На что нам соображалки дадены...

– Кстати, Яночка, к нам, троим, прибавился еще один.

– Итак, я, было, путала вас, а тут – новый сюрприз?

– Без сюрпризов нам жить невозможно.

– Где же ты вчера пропадала, любезная? – Спросил Гарик.

– Утром шла себе по улице, – охотно призналась Яна. – Услышала, как благочинный мужичок толковал одной дамочке: «Что, милейшая, начнешь с утра делать, то и до вечера не переделаешь. Поверь!» Я догнала этого мужичка и спросила с вызовом:

– Скажите мне: а я что буду делать сегодня?

– Что начнешь с утра, то и делай, красавица, – проговорил он, не сбавив шаг и почти не повернув голову.

А я вышла из дома затем, чтобы купить мыло для стирки. Ну, дома я почему-то взяла ведро и тряпку, чтобы прибраться в комнате – пол-то грязный! Надо помыть. Стала мыть – разлила везде воду; стала вытирать пол – опять воду разлила. Так почти до вечера и промаялась с приборкой да стиркой потом.

– Беденькая! Ты же ведь, Янина, белоручка. Грех тебе с тряпкой возиться. Такие пальчики нежные, как лепесточки роз...

– Ой, не смешите-ка меня!

– Тебе приличествует, – говорил ей Гарик, – быть актрисой, читать монологи, разыгрывать сценки, по-моему.

– Да-да! – поддакнули и друзья.

– Ну вы сразу хотите поставить меня на пьедестал... Носом не вышла...

– Да это мы – носатики... А у тебя – шик – модерн... Все в ажуре.

– А что касается сценок, то и здесь их хватает...

Что верно, то верно. На каждом углу толклись, тусовались торгаша.

– Нам графьями все равно не быть. Продай, говорю, сервизик, шмот, – уговаривал ершистый покупатель продавца у столика с мелкой продукцией.

– А вдруг?... – рисовался продавец. – Все сполна вернется еще...

– Когда рак на горе свиснет, дорогуша. И не для нас... Наш загад не бывает богат.

– Верно ли говорят, что у человека нет судьбы-знамения?

– У меня-то точно нет. – Лева был говорливый, смешной и веселый и даже проказливый, очень быстро говорящий – только успевай схватить суть того, о чем он говорил. Относился ревниво к тому, если его не замечали, не выделяли.

– А что с твоим пальцем, Левочка? – спросила Яна. – Вижу: забинтован...

Друзья засмеялись. И сам Лева – тоже.

– Крыса тяпнула, – признался он, краснея.

– Что, всамделишне? Не сказка?..

– Я не вру. Вчера по малой улочке топали. Вижу: в окошке подвала висит крыса – уцепилась лапками. За прутья металлические. И осматривается дурища... С ходу я взял и сунул ей в морду горящий окурочок папироски – потушил таким образом... Она взвилась и цапнула меня за руку. Негодная тварь... Теперь из-за нее и ходи почти месяц на прививку...

– Жуть, Левочка! Вот оставь вас без догляда – вы без происшествий не обходитесь.

– «Дурак! – сказала мне и сеструха, – мог еще и желтуху схватить по легкомыслию». Она у меня тоже умная, как все женщины.

– Уж заведомо. Не геройствуют.

XXII

Исторический факультет Герценского института, куда о зачислении Францужовой, как было принято, ходатайствовал перед ректором студент-старшекурсник, был на Большой Посадской улице (на Петроградской стороне). Ректорат, поддерживая идеи Рабфака, ссылался на то, что в стране очень мало подлинной интеллигенции, склонной помогать в образовании рабочему классу, а его надо образовывать по-настоящему в первую очередь на исторической основе. Яну определили в студенческое общежитие, шумное, многоголосое; у нее, охочей потолковать о выставках, нарядах и многом другом, очень скоро нашлись единомышленники и союзники. В особенности подвизалась около нее дружески троица этих еврейских парней – Гарик Блинер, Лев Кальман и Иосиф Шнарский – рассудительных и заводных. Она чем-то

их прельщала, не отваживала от себя; они же каких-то неудобств для нее не представляли, в женихи не набивались. Просто воздух молодости и познания кружил им головы.

– Яна! Яна! Порадуйся: меня приняли!

– Яна, выступает Маяковский! Ты пойдешь?

– Яночка, наводнение! Жуть метущаяся!

– Пойдем смотреть! – Все ребята в возбуждении. Сломя голову, летят вниз по лестнице – ей навстречу; ее с собой обратно тащат – сумасшедшие. Невозможно им не повиноваться.

Они гурьбой шумно до Невы дошли. На Николаевском мосту, под которым пенилась вся река, она приговаривала:

– Своим потом расскажу, какая красивая Нева. Никто ведь не поверит!

Из-за наводнения они всю ночь просидели в аудитории. Вследствие этого она познакомилась с одним толково-бескорыстным преподавателем Бойкиным. Она одновременно с учебой и учительствовала в школе при институте, созданной специально для студенческой практики, значась в договорах служащей по происхождению. И Бойкин пообещал ей найти для нее уроки в такой-то школе и тех родителей, которые могут предоставить ей для жилья и комнату. Отличная подсказка!

Так и вышло. Бойкин порекомендовал Яну для занятий с детьми одному родителю в доме на Малой Посадской.

– Добро, занимайтесь, Яна, моими двумя лоботрясами – 5-й и 6-й класс, – деловито согласился солидный хозяин дома, он же и управляющий этого дома, дореволюционный купец. – Вот они, неугомонные – Назар и Степан. (Те от порога кабинета, не мигая, молча рассматривали Яну, свою новую репетиторшу.) – Вверяю их Вам. А жить – живите здесь, в моем кабинете.

Все устроилось превосходно. И удобно-таки: институт был рядом. И подспорье: второй урок давал ей 12 рублей в месяц. Добавок к стипендии.

Теми же днями перевелась из Смоленска сюда, на педагогический факультет, подруга Яны, Лида Калачева, и Яна устроила ее на житье в этом же доме – на 5-м этаже. Вдвоем им повеселее стало жить. В дни получек государственных стипендий они, в длиннополых полосатых расклешенных платьях, в тифельках на маленьких каблучках, с колечками волос на висках, ходили прогуляться до Елисеевского – там покупали душистые булочки и уплетали их на ходу. Блаженствовали.

Однажды они так весело-беззаботно шли в толпе, щебеча, лакомясь аппетитными булочками и болтая модными сумочками в руках – на ремешках (молодые женщины их носили); эти сумочки у них и срезали вмиг воришки – опомниться девушки не успели! Целый месяц – в ожидании очередной спасительной стипендии они как-то перебивались; ладно, что хоть уроки за деньги у них продолжались. Худо ли – бедно ли.

Яна, окончив институт в 1927 году, получила направление в Сиверскую. Лида случайно столкнулась с одной женщиной, сдававшей в наем комнату за 30 рублей в месяц, и сняла ее; подруги могли уже рассчитывать не уроками с квартировладельцами, а деньгами из зарплат, и Яна перебралась к подруге своей. На Сиверской были все преподаватели (коллектив с Бестужевских курсов), знавшие иностранные языки и побывавшие уже за границей. И что важно: здесь школа предоставляла молодым специалистам жилье (из числа конфискованных дач), и завуч группировал уроки на определенные дни, а не сплошь.

Лида внезапно (по семейным делам) уехала навсегда в Севастополь. Но вышло уже правительственное распоряжение, что отныне не может быть никаких частных квартир – все жилье становится государственным. И теперь следует его оплачивать в ЖАКТ по государственным расценкам. Так коммунальная комната безвозмездно перешла в собственность квартирантке Яне.

Помимо своего учительства в школе Яна обучилась также экскурсоводческому делу: она любила увлекать всех рассказами. Попав в экскурсионный кружок к жалующей ее мето-

дистке-еврейке, она вела городские экскурсии (платили за одну 15 рублей – очень хорошо); как раз готовились верхи к празднованию 10-летия Советской власти под девизом: «От февраля к Октябрю!» И экскурсантам предлагались главные точки: Таврический, Смольный и Музей революции.

Было время НЭПа. Публика ходила окрыленная и расфранченная. Женщины – в клешенных платьях, беретках, платочках клинышком, пестрых шарфиках; на ремнях – блестящие квадратные и круглые пряжки – люкс! Да еще лакированные туфли, ботинки. Умопрачительная короткая стрижка или шестимесячная завивка, входящие в моду! Парикмахеры пользовались очень большим спросом. Платили им бешеные деньги. Театры благоденствовали, соревновались во славу зрителей. Театральные же билеты были доступны. Существовала комиссия улучшения быта учащихся (КУБУЧ) – студенческая всепомощь; студенты брали билеты и в долг, а потом случалось, и забывали деньги отдать, и это как-то списывалось без последствий. В театре на Литейном играли «Грозу» Островского. И его же «Бесприданницу» бесподобно сыграли артисты БДТ. В Мариинке шли балет «Лебединое озеро» и опера «Кармен» с участием певицы Мухтаровой. В построенных дворцах культуры пускали пьесу Горького «На дне», а Мейерхольд поставил «Мандат». И в спектакле «Дни Турбинных» Булгакова (Сталин постановку разрешил) участвовали Москвин, Качалов, а в «Вишневом саду» – Книппер-Чехова, Яншин, Ливанов. И Малый оперный не отставал... Так что Яна старалась не пропустить ничего из интересного...

Она и сама уже удачно вживалась в сценические образы и показывалась на подмостках, имела первых поклонников. Молодая, полная задора, планов, она, закрутившись на людях и в большой культуре, еще не жалела ни о чем; главное, она толком сама не знала (и не думала теперь о том), почему же не поехала учиться вместе с Никитой, звавшим ее, в Москву. Но институт Герцена был по статусу союзного значения: может, – и поэтому. Около нее паслись здесь ухажеры, да ее держала покамест эта юношеская – пусть и временно отложенная – любовь: все-таки не было ровни Никите, писавшему ей искренние любовные письма. Ей оставалось лишь вскользь вспоминать, усовещая себя, как они странно хороводились напоследок в Смоленске. Тогда-то чинно-строжайшая его тетушка сказала ему в ее присутствии:

– Эта девочка – у-у! – Она поднесла пальцы к губам и поцеловала их кончики. – Прелесть! Я люблю ее.

«Да, они могут весело говорить, шутить, они могут нравиться друг другу, – думала тогда Яна про него и себя; – но это может продолжаться только дня три, не больше. А дальше – что?..»

– Я не могу подумать, я знаю, что если я болею и скажу об этом другому, то другой все равно не сможет так же болеть и страдать, как я, так для чего же я буду говорить об этом? – высказала она ему одним залпом на зеленом холме возле величественных стен древнего Смоленского кремля. – Я знаю, что этим самым принесу себе еще большее страдание, и мне противно будет, если кто-нибудь станет жалеть меня.

Никита не прерывал ее, радуясь тому, что это она говорит ему прямо в лицо.

– Так, и не будет у нас этого впереди теперь? – спросил он затаенно, почти шепотом. Голос у него пропал. И он вздохнул. Но по бьющейся груди понимал, она это чувствовала, да, совершенно обратное: что, если не прекратит расспрашивать ее, то она сейчас же и расплачется от чего-то беспричинно.

И она еще чувствовала, что вот-вот он нечаянно скажет что-нибудь еще – и жалко-строго замолчит; и ей, его стороннице в переживаниях (она себя осуждала), было очень-очень жалко его, когда она с таким возмущением встречала каждое его замечание, но не могла сдержать свои эмоции.

– Ты все ничего не видишь, кроме того, ты все думаешь, что только ты выбрал нечто, а другие не могут выбрать, – сказала она совсем не то, что хотела сказать.

– Значит, ты меня все время не понимала, а вот только сегодня, только сейчас поняла и раскусила? – сказал он с дрожащим лицом, отворачиваясь, пряча его от нее и перехватив, к еще большей досаде, любопытствующий взгляд некой тетеньки, приостановившейся на красной тропке.

День был задумчивый. Неторопливый.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Что позволено себе? Об этом не худо бы спросить у себя, прежде всего.

Это был еще 1956 год, когда худшее, что было, коснулось и дней ноября, и было колючее воскресенье, в которое они – Инга и Костя Махаловы – собирались к Туровым.

Впрочем, златовласая, в голубом бархате и с еще девичьей вольностью, Инга была очень хороша собой, когда она открыла дверь Тосе Хватовой, своей двадцатисемилетней подруге – погодке, и сразу же, кругля атласные глаза, заявила ей, что она уязвлена: во-первых, представь, у нее отбит новый жених, этот сизарь Стрелков, во-вторых, на сегодняшнее новоселье пригласили ее просто запиской – ту принесла весталка, а в-третьих, у нее-то самой все, окончательно все спуталось. Душа не на месте.

– Ну, входи, снимай пальто! – И она возбужденно, перекладывая в комнате, на кровати, стульях платья, комбинашки, приговаривала: – Я уверена, что мигом женится... Тьфу!.. Выйдет замуж Аллочка... Ей невтерпеж... А мне, девушке Инге, – как мне быть? И даже моя крестная, мировой судья, не сможет тут рассудить...

Платяной шкаф был раскрыт, около него валялись носильные вещи, коробки, вешалки; на ворсистом темно-зеленом кресле разинул желтый зев чемодан, напоминавший Тосе счастливые дни проведения их бывалых каникул у Черного моря. И увиденное сильно расстроило ее. Она недоумевала:

– Ты, что, уезжаешь куда-нибудь?

– Ах, не бойся, подружка: я Костю выгоняю... Вернее, сама уйду отсюда, из этой свекровьей конуры, – сообщила Инга будто равнодушно, желая, видно, своим полным равнодушием наглядно показать всем, как она умеет расправиться с неподходящим для нее мужем, человеком, которого иногда защищала перед ней и Тося, спокойная разумница, положительная вся. – Да, бросаю Костю, и вот такой провал – моя новая любовь непризнанна, разбита; ведь Стрелков стал увиваться вокруг эгоистки Аллочки (я не обозналась): уж она-то быстренько обкрутит его, поверь мне. Оглянуться не успеет, поверь, – повторила Инга с явным удовольствием.

– И дался тебе этот журавль обдерганный! – Тося видела того в Университете мыкающим с папочкой на застежке. – Хлыщ хладнокровный...

– Ой, оставь! Не гони напраслину.

– Из-за него вы расскандалились вновь?

– Какое!.. Тебе, Тосенька, незамужней, не понять. Неуютно мне, признаюсь, с моим сокровищем – муженьком горячим; он словно все еще на фронте, среди друзей-однополчан, в атаку ходит врукопашную или в разведку, где может и пропасть не за здорово живешь. Нас качает и трясет. Рычим друг на друга. Его мамочка моторная кудахчет. Вот и, спрашивается, где сейчас черти его носят? За покупкой ведь залимонился... А мне бы только бабки где-нибудь раздобыть – все бы тогда бросила и укатила куда подальше, – выговаривалась Инга. И как-то иронично глянула в глаза подруге и захохотала неожиданно, точно репетируя какую-то скучную сценическую роль, надоевшую, верно, ей самой.

«Фу, сколь отвратительно ее кривляние!» – подумалось Тосе, да тут слышно за стеной звякнули ключи. Дверь приоткрылась, и в нее несмело вступила взъерошенная приземистая

фигура Кости, в козлиной дохе и с шапкой черных волос на голове. Инга поймала испытующий взгляд Тоси, направленный на нее, и тоже покраснела. Демонстративно поморщилась, фыркнула, поскольку Костя замешкался – он не знал, что сказать при Тосе (они с Ингой не разговаривали уже три дня), и, бросив единственное слово:

– Господи! – которым постоянно казнила его, выбежала в кухню и с силой захлопнула за собою дверь.

– Здравствуй! – Тося перемигнулась с Костей, еще в нерешительности переступавшим с ноги на ногу. – Молчи!.. Я вас помирю... – Она не могла смириться с мыслью о справедливости и серьезности этого конфликта двух близких ей людей, у которых на регистрации их брака она была шафером, и все же искренно ей было почему-то жалче его, Костю. Он ни в чем не притворялся ни перед кем. Был мужчиной. И, безусловно, нуждался иной раз в чьей-то помощи, поддержке моральной.

Только комнатную дверь опять распахнуло ровно порывом мятущегося ветра (за окнами качались голые подснеженные верхушки тополей), и Инга подлетела к Косте вплотную. С ошалевшими глазами.

– Ну, что надумал? – У нее был самый решительный воинственный вид, говоривший у ее готовности к действию; она, конечно же, считала, что ей одной из двух дочерей военного офицера, было к лицу негодовать, если была причина для этого, и что она еще вправе руководить и командовать собственным мужем.

– И давно, – ответил он, прищурясь. – Еще когда холостячничал, помнишь?

Они познакомились на юрфаке университета. В студенческие годы эротичная Инга, Костя отлично видел, знал, пользовалась завидным успехом у таких, как он, парней, матерых, прошедших на войне огонь и воду; она, яркая, не без шарма, заигрывала со всеми подходящими для нее кавалерами, раззадоривала их без всяких обязательств; они тянулись к ней, и ей льстило быть в центре притяжения и казаться легкомысленной, увлекающей, но неприкасаемой богиней. Долго ли, скоро ли, однако ее открыто вызывающий культ красивой чувственной силы пробудил в нем, Косте, удаль бесшабашную; он как человек отважный, отчаянный и рискованной, многожды обстрелянный, поклялся товарищам на пари, что первым завоюет ее сердце, сумеет поухаживать. Увидите! И это ему удалось. Но, к сожалению, жизнь не считалась ни с чем; она расставляла перед ним, наивным, доверчивым, скрытые ловушки, о которых он не подозревал никак.

«Есть простое повествовательное предложение», – припоминались ему на этот счет слова, сказанные как-то профессором-филологом К. о своей многолетней работе, труде, не внесшим, по его убеждению, в науку ничего нового.

– Посмотрите на него! Весь обиженный, нахохленный, что англичанин! – Ингу выводило из себя то, что Костя теперь, после совместной трехлетней жизни перестал восторгаться ею, стал почти равнодушен к ней, а хуже еще – непокорен ей.

Он лишь пожал плечами, словно ему было невдомек, взаправду ли она говорила сейчас то, что говорила, и было ли вообще такое наяву. Ему не верилось до сих пор. Ни за что не верилось в такое, хоть убей.

– Ну, ты идешь со мной?

– Если хочешь... Я готов... Всегда готов!

– И не беси меня святостью своих глаз! А лучше скажи, что Стрелков? Пасет ли он Аллу? – попутно решала Инга для себя головоломную задачу.

– Понятия не имею, кто кем оприходован. И не знаю никакой Аллы.

– Но она ведь родственница Николая Анатольевича, для кого ты – протеже.

– Это он – мой протеже. И отлично! Все мы чьи-нибудь родственники.

– Да, отлично, нечего тебе сказать... Если твои несобранность и несерьезность есть и в том, что учился ты на юриста, а работаешь художником...

– Точней: редактором по должности. Я, что, судим? Под следствием?

– Не минется. И амнистия тебе потом не светит.

– Да ты, Тося, сядь! – виновато сказал Костя. – Некуда? Вот хоть сюда... Скинем прочь этот чемодан! Уж в который раз все выставляется мне напоказ...

– Пожалуй, я пойду, – нашлась Тося. – Не пойму вас. Такая резиновая жвачка, право, не по мне. До свидания!

– Тосенька, прости, – клялась Инга, провожая ее. – Я приеду к тебе в другой раз, и мы обязательно потолкуем. Ладно?

И продолжила после, проводив ее:

– Как мило и скоро, дорогой мой, ты женатым вовсе позабыл и то, как надо ухаживать за женой, еще твоей женой. Видно, мне и это надо больше, чем тебе, знать. Тогда переодевайся, не будь охламоном, не позорь меня перед друзьями моими, – скомандовала она. – Потом все проясним и обусловим наш развод. – Круто повернулась к нему: – Ты согласен?

– Согласен. Я на все уже согласный. – Костя подчинился ей, – он знал наперед, что его молчание и видимая покорность – что вода, льющаяся на колесо той мельницы, которое все-таки еще крутила жернова и молола, хоть и со скрипом, благодаря именно его жене, иногда разумной, сумасшедшей и скандальной. И подошел к шкафу.

– Надень новый костюм – не скромничай; там, очевидно, барышни будут, – говорила Инга со значением, понятным лишь ей одной.

– Зачем? Все равно же мы расходимся.

– Фу, какой плебейский у тебя лексикон! Ах! Я и забыла, девушка...

К вечеру на улице студил и сек (и снежило редко) ветер и вновь подмораживал слякоть и выбеленные ночью первым снегом палисадники, крыши, наличники, деревья. И поэтому у Кости отчасти поэтически изменилось (что-то тронуло в душе) настроение.

И так живо, ярко впечатлилась ему одна сценка славная, романтическая, увиденная им в вагоне метро, в котором они ехали.

Было то, что рослый и угловатый отец двух длинноногих дочерей-подростков, приятный в своей мужественности и нежности, усадил их себе на колени и, обняв обеих в обхват, весело-влюбленно разговаривал с ними, рядом с сидящей и улыбающейся женой. Девочки были очень оживленно-веселы, их глаза блестели; они непроизвольно пальчиками касались его лица и точно забыли про всех пассажиров, которые невольно обращали на них внимание и улыбались их нежной дружбе и завидовали. И особенно улыбалась и поглядывала на свою маму, держась за ее руку, их сверстница, сидевшая неподалеку, наискоски от них. Видно, она бессознательно, быть может, хотела испытать такое же чувство счастья. Но не меньше ее лично и Костя хотел того же. Придирки жены ему надоели.

В светлой новенькой парадной большого дома Костю вдруг прорвало: он тихонько засмеялся над собой и замедлил шаги, уверенный в том, что противопоставление – блеф: Инга ненавидит его, а он смеется, не боится того.

– Эва, нашло! – проворчала она. – Истерика? Уймись!

Он не сразу смог остановить себя и перестать смеяться.

– Милая, прости, но я больше не могу: это же комедия у нас! – заговорил он, поймав ее за руку и ощущая вблизи запах ее волос. И впервые за эти дни увидел, как ожило и просияло ее лицо, хотя, кажется, она все еще хотела обидеться на него и за это. Он сделал свой разумный шаг к примирению, удивленный сам неожиданным своим решением.

Они, чуть-чуть присмирив и посерьезнев, и позвонив, вошли в неизвестно новую квартиру.

II

Дородная старорежимная Евгения Павловна Турова с серебром ниспадавших волос, стриженных «под горшок», в темно-синем костюме, с отменным синим, завязанным по-старомодному, бантом на груди, на белой сорочке, колдовала вокруг накрытого стола, что-то подставляла и переставляла на нем, и, напевая себе под нос арии, пребывала в одной благодати. Ничто больше для нее сейчас, видать, не значило.

«Нет, не удовольствуюсь – и негодую я, и умиляюсь, и уже восторгаюсь; хмурость потерплю – моя честь не поранена», – размышлял Махалов, вздохнув и отпустив свободомыслие в полет. Они с Ингой впервые (она перестаралась) приехали сюда, в новочистенькую квартиру Туровых; зато Ингу немедля заарканила для нарезки лука сладкоречивая дочь хозяйки Вика, белобрысая пышка. Присев на старый диван, перед бюро с каменной лампой, по углам основания которой выглядывали бараньи головки, Костя смутно, но улавливал и иную связь своей мысли с опустошающей супружеской нерволоккой. Но что не может потерпеть? Был до этого винный погребок с публикой солидной... И кому-то к слову «Швейка...» процитировал... А-а, это ж дали мне заказ – каталог оформить!.. Ну-у, было забыл!.. Проваландался, гусь... И ведь надо заэскизить к следующему четвергу... Выходит, надо завтра-послезавтра – кровь из носу! – посидеть с работкой этой – и в среду отнести эскиз готовый. Попроверим память вновь... Значит, точно в минувший четверг получил?.. Ну, тогда успеется...»

Это Степка Утехин деловито зарулил Костю в погребок, прозванный завсегдатаями «погребок США», – растрясал свой гонорар. С вожделием он подошел к винному лотку:

– Какова собой «Приморская водка»? Цвета коньяка...

– Близко к «Царской», – раньше лотошницы пояснил стоявший рядом мужчина в летах, хорошо одетый.

– Дайте бутылочку, – попросил Утехин.

Невозмутимо-молча, без улыбки, продавщица выставила водку на стойку.

– Да, дайте еще и «Советский джин». Умру, если не попробую. И еще бутылочку, пожалуйста... А это что?

– А эта приближается по градусам совсем к коньяку, – сказал тот же словоохотливый посетитель, ждущий, верно, кого-то или что-то.

– Беру и такую.

Затем они вошли направо – в рюмочную.

– Вы сюда стоите? – Уткнулись в спины стоявших гуськом мужчин к кассе.

– А больше некуда здесь стоять, – срезонировал на подошедших гладкотельный потребитель в середине разговора со своим товарищем и кивнул на набитую бутылками матерчатую сумку, которую держал Утехин: – Смотри, как бы не прокисло... Набрал!..

– Этот товар у нас не застаивается, – ответил тот подобающим образом. – Ну, что, Константин, будем брать? Коньяк – грамм по пятьдесят?.. И по двести шампанского? Я-то сам лишь шампанское пью. Коньяку уже хватанул до этого.

– То напротив бухгалтерии у вас прикладывались, шебуршились, что ли?

– Нет, сюда я не поспел, а когда ходил в Союз, – имел он в виду Союз художников.

– Лучше «Рислинг» мне возьми. К коньяку я тоже равнодушен сегодня.

Костя хорошо помнил, как двое запьяневших толстяков у стоек пробовали тянуть друг друга согнутыми пальцами, и как у одного из них разгибался раз за разом палец – не выдерживал усилий; так второй корил его за такое бессилие, дразнил, что он слабак и что поэтому больше ни за что не будет пить вместе с ним.

Послышались в прихожей густые простуженные мужские голоса:

– Я не люблю обманывать. Но другие, знаете... беда...

– Во! Во! Во! Во!

Евгения Павловна радушно пошла навстречу вошедшим, протягивая для пожатия ладошку – забавно – лодочкой.

Махалов вновь вздохнул, раскрепощенный оттого, что не все у него оказалось уж так плохо (поправимо), вышагнул из комнатки и встретился с поблескивавшими глазами крепко сбитого и большелобого Луцина, редактора толстого периодического университетского журнала «Ведомости», что ежемесячно выпускался в темно-зеленой обложке и рассылался во многие зарубежные страны. На Луцине костюм был тоже темнооливкового цвета, подметил глаз Кости. Они вместе работали в издательстве ЛГУ.

– Батюшки светы! – радостно воскликнул Николай Анатольевич. – И тебя я вижу?! – Крепко ухватил его под локоть, зашептал: – А Инга где? С тобой?

– Это я при ней здесь, Коленька, – уточнил повеселевший Костя. – Она попала под «Колесо истории»: на кухне лукорезничает.

– Ну, здорово-таки! А мы, давние женатики и приятели, вот одни; жены отпустили нас – гуляем себе, вольные казаки. – Знакомся – Никита Янович Луданов, – представил он бодрого незнакомца (тоже средних лет) в фиолетовом костюме с блестящей-ниточкой. – Настоящий книжный король.

– Мы где-то уже виделись, Янович, кажется. – Костя пожал тому руку, назвал себя.

– Да в винном погребке, небось, – подсказал Никита, по-свойски улыбаясь. И Костя по его улыбке и движению вспомнил, как тот, выходя из погребка, помахал рукой и приятельски сказал всем: – Мальчики, всего! Успехов вам!

– Маэстро, рассуди художнически! – взывал Луцин. – Известный классик отмечал, что искусство совершенное возможно было лишь на заре человеческого общества...

– «Веселенько день начался!» – сказал осужденный, которого вели на казнь, – проговорил с расстановкой Костя. – В арбитрах вы нуждаетесь, что ль?

– Ни. Нам, страстнотерпимцам, хочется обмозговать стихию творчества...

– Заело, – сказал Никита. – Перпетуум-мобиле...

– Как говаривал дед бабке: «перестань ты, старая брякалка! Не мозгочи!» Оставьте вы эстетствующий порыв! – И Костя аж поморщился. – Мне приснились сегодня голые люди – те, с кем я знался где-то неприятно, помнил; они узывали меня куда-то с собой, манили ласково. «Господи, какие голые мысли! – думал я, просыпаясь, – и меня несет туда же!»

– Бывает, – сочувствовал Никита.

– Ты скажи, друг мой: помнишь юбилейную выставку картин Рембрандта в Эрмитаже? – пытал Николай. – Разве не экономическое могущество Голландии и Испании в те годы дали расцвет голландской и испанской живописи?

– Что, коллоквиум искусствоведческий у нас?

– Не сердись. Я – о превратностях судеб талантов. Гений умер в нищете, больным, ослепшим; он был обворован властью, выброшен в сарай – и напрочь забыт. А нынче весь мир славит его и припадает, как блудный сын, к его стопам; все мировые музеи обмениваются его работами – на показ, выпускают каталоги; называют его именем самолет, и уж сама королева – популярности ради – открывает его выставку. Талант победил.

– Это ведь земной организм оберегает и приемлет ему угодное, а неуютное, чужеродное отторгает со временем и отбрасывает прочь, – сказал Костя.

– Справедливо, – сказал и Никита. – Но так и во всем.

– Только сам ты, Коленька, не скромничай... Говорят, что ты на пятничном собрании своим выступлением ниспровергал основы нынешнего самодурства?

– Как я могу, маэстро? Надо было лишь поставить все на свое место. А то босс наш речет так, будто он сдвигает континенты.

– А оказывается, они сами двигаются, – добавил Костя с довольной усмешкой.

Их разговор прервался. Квартира враз заполнилась голосами, возгласами, смехом прибывающих гостей; все завертелось с подарками, с цветами, с поздравлениями и поцелуями. Все ахнули, когда Алла Золотова, подружка Вики, сняла пальто: ее естественные рыже-красные

волосы лежали локонами на голубовато-кобальтовом платье, еще более ярком, чем у Инги; у нее было лицо красавицы с наведенными бровями и великолепно сложенная фигура с узкой талией и красивыми ногами, которые чуть выше, чем нужно, были открыты.

– Мама моя, родненькая! – произнесла вслух Вика. – Обалденно!

«Как из одного инкубатора», – недовольно подумала о себе Инга и прочитала то в глазах других. Но Алла явилась одна, без кавалера, и сразу стала бросать голодно-оценивающий взгляд на безукоризненно статного и миловидного ученого Володю, знакомого хозяйского сына, а он отвечал ей тем же. И Ингу это успокоило.

Когда же все уже рассаживались за столом в большой комнате, позвонил еще кто-то. По обыкновению Евгения Павловна заспешила к двери и, открыв ее, остановилась в некотором замешательстве:

– Леонид Парфеныч!.. Нина, поди сюда, – позвала она младшую сестру.

– Люди, я боролся с собой, решая, придти мне или нет, – виновато говорил вошедший мужчина, породистый, но уже подвыпивший, с изъязвленным, порченным лицом, бывший не то в выгоревшем армейском кителе, не то в обрезанной шинели. – Я, понимаю, человек светский, но немножко одичал. Давно утратил все свои мужнины привилегии.

Это был ставший запьянцовским после войны муж Нины Павловны, судьи, человек, способный, не взирая на то, что они расстались, докучать ей своим внезапным появлением. И она развела руками:

– Входи же, пока тебе не попало.

И все, знавшие историю их взаимоотношений, деликатно уступили ему дорогу и место за столом. И возникло некоторое напряжение из-за этого.

III

На тихом торжестве по случаю получения жилья, после дрожащих слов Евгении Павловны о том, что судьба благоволит нам, выстоявшим и живущим, и что, хотя потери велики, жизнь еще имеет смысл, и после других хороших тостов и уважительных слов, книжники – Луцин, Махалов и Луданов, усевшиеся скопом, повели свой интеллектуальный застольный разговор. Они были рады тому, что почти сошлись между собой во взглядах, а главное, что сейчас, выговариваясь так, выявляли в себе способность еще здраво мыслить, рассуждать о чем-то стоящем по их мнению. Ничто не смущало их.

– Други мои, между ожидаемым и действительным – бездна, – рассуждал Луцин. – Все следует порознь: песни поем лирические, а в жизни – насилие; благозвучна музыка, а наяву диссонанс – трагедия или фарс. Не так ли?

– Жуткая пьеса, – сказал Костя. – Но у нас есть магическая формула: надо!

– Да, истина понятна всем, что ясный день; – подхватил Никита, – только злопахает кругом людское, чертовское, – сколько не кричи, не прошибешь уже испорченных властью или норовом или ограниченных людей.

– Как мы живем!

– Да, пассионариев уж нет.

– И какой исход по-вашему: лапки кверху? – в упор спросила Инга. – Ведь еще древнегреческие философы жаловались на плохое воспитание молодежи. – И покосилась, как бы опоминаясь, на начальственного Игната Игнатьевича.

Среди приглашенных было – да – такое начальственное лицо (то ли начальство хозяина – сына, Михаила, то ли еще что неясное) со строгим лицом еще без складок, со строгой прической; а веки у него полуприкрывали сверху зрачки глаз, отчего вид его казался полусонным, неприятным. Про его крутость сведущие люди говаривали почти как о Сталине: «раз Лиходей нагрнул на строительный объект – полетят у кого-то головы». Однако Лиходеев сидел за сто-

лом достойно, точно в каком президиуме, и в словесных толках не участвовал; он покамест усердно трудился на животном фронте, будто насыщаясь впрок, потому как еще не все ходили перед ним в должниках. И вертлявая его жена, Вера Геннадьевна, в темноцветастеньком крестьянском платье, тоже полумолчаливо поддерживала трапезные мужнины усилия, не сбивала его с толку. Она-то давно убедилась в том, что голодный мужик страшнее зверя.

– Итак, нам известна боль, но каждый чувствует ее по-своему, – убежденно говорил Никита. – Мир людской страшно разделен. И эта разделенность – то неоспоримо – рождает зло насилия. Нынешняя жизнь целиком зависит от того, кто, что держит на уме и в руках своих, кто какую гайку, где вытачивает.

– Пахать – мал, бранить – велик, за водкой бегать – в самый раз, – посудил язвительно Звездин, уже находясь на взводе, и засмеялся пакостно, будто храбрый пловец, заплывший уже далеко в море, тогда как остальные еще топтались на берегу.

– Леонид, прекрати! – осадила его тотчас Нина Павловна, хмуря брови.

Но стольничавшие обошли вниманием его каверзную фразу, как обходят какое-либо препятствие на тропке, чтобы идти дальше.

– Все ломается, и нужно все сознательно ломать, – имею я в виду понятия, – сказал с пафосом Лушин. – От привычного трудно отвыкать, но нужно и что-то новое избирать – для того, чтобы узнать себя еще лучше, еще лучше выразить свои взгляды, мысли, надежды. Особенно – в творчестве...

– Ну, это уж камешки в мой огород, – заметил Костя. – Прощаю тебя...

– «У нас свобода сновидений», – вклинился опять говорливый пропойца. – Так любил приговаривать мой командир, лейтенант, когда подчиненные ребята спрашивали у него: а можно ли сделать вот так, а не иначе, и тому подобные мелочи. А ведь они, орлы, в разведку хаживали... Извиняйте...

– По-моему, Вы, Николай Анатольевич, не туда поехали, – возропала бдительная Инга. Она хотела бы спасти мужа от избранной им компании: сыгранность той не нравилась ей, была ей просто подозрительна. И несколько беспокоило ее теперь то, что он заглядывался на Аллу, сидящую наискоски от него и занятую, к спокойствию Инги, щебетаньем с соседом – симпатичным Володей.

– Считаешь, что самое совершенное не то, что сделано тобой, а то, что думаешь сделать, – говорил Костя. – Поэтому и такие претензии к себе, и такое недовольство собой, что все хочется переделать. Основательно.

– Да, надо торопиться делать добро, – определенно высказалась и Евгения Павловна. – Для чего ж сотворены все проповеди – христианские, мусульманские?.. Но живется-то все не легче.

– Ну, дайте, товарищи, мне минут сорок пять, – взмолился Николай.

– Ты, патрон, не на партсобрании с докладом, учти, – перебил его Костя.

– Дайте... Я на примере литературных героев Бальзака докажу, насколько справедливо мое предостережение – не зевать момент. – Николай воодушевился и процитировал уместно и Данте и назвал его предшественников и годы их жизни, причем морщил большой лоб, и пальцы его дрожали. – Я все знаю. Мне не нужно говорить, кто сзади меня идет; я по лицу встречного вижу, кто именно. Капиталист или социалист. И благо или позор он несет с собой.

– Так и можно проглядеть вакханалию, – заметила Евгения Павловна, – не обижайся, брат. – И остановила Звездина, пытавшегося опять включиться в спор. – Что, Васька – кот? Васька – кот. Ты чего закрутился? – шутливо-серьезно обращалась она к нему. – Н-на, хлябни, морсу! Христос с тобой. Хлябни! Еще, матушка.

– Ему пора отчаливать – довольно назюзюкался, – сказала Нина Павловна сухо.

– А-а, присудила свое судейское решение! Сейчас подчинюсь... – Он отпил еще из стакана – и совсем нос повесил. Никто им не интересовался. Он был неинтересен всем, хотя он

и еще надеялся на что-то, ерзал на стуле и злился. Особенно раздражал его нафуфыренный градостроитель (от всяких начальников-чинуш он натерпелся несказанно сколько – будь его воля, всех бы вывел на чистую воду!).

Между тем Володя и Алла увлеченно судачили о чем-то другом.

– И я покраснел. Он меня понял. И я его понял.

– Ну, Вам, конечно, сделают исключение. Вам такому да не сделать...

– В Москве я больше хорошеньких видел.

– В Киеве их еще больше, я уверена.

– Там условия позволяют и располагают к этому.

– Киев мне жутко понравился.

– Вот куда поедем или полетим летом. – Сказав это, Вика оттопырила ладошку с лепестками пальчиков. И покрутила ею в воздухе.

– Я прочел книгу Аксиоти о Греции двадцатого века, – сказал Никита. – Вывод: на качествах вечных – норма жизни у людей; что ими создается, то и разрушается бессмысленно, с треском. И к тому же это обставляется законами. А народ практический обделен. Как бы не хороши были законы.

– Но в тридцать шестом король Греции Метаксас разогнал парламент, стал диктатором; он назвал это возвышенно – «третьим возрождением», – уточнил Николай. – И тогда же в Испании Франко, тоже генерал, замятежничал.

– Имущие не хотят терять власть, – сказал Костя. – Редко кто отказывается от нее.

– Маэстро, у нас, в России, Николай Второй отказался. И что получилось?

– Что, юноша? Нашлись другие деятели. Образованные и не очень.

Засмеялись.

– Костя, прошу, кончай антимионию, а! – взывала Инга. – От греха подальше.

Его вольнословие и поведение пугали ее могущим быть последствием. Так их друг, Генка Ивашев подзалетел на год в тюрьму. Раз они, приятели, шумно веселились в столовке, превращенной в питейное заведение, и какой-то хмурый полковник начал стыдить их, молодежь. Да еще поставил по стойке «смирно!» Генку – его-то, безрукого, потерявшего руку в бою, кавалера двух орденов славы! Наорал на него! Естественно, пальцы здоровой правой руки Кости сами собой сжались в увесистый кулак, и он двинул им по обидчику... Вот недавно Генка был освобожден.

Костя же пока не мог остановиться – распространялся дальше:

– «Наибольшие опасности возникают при исполнении стандартных положений» – аксиома. Так? Теория всегда стройнее практики. И бойтесь копий. Копия – не оригинал. Ценен подлинник. Тот или те, кто копирует модели жития и дела по принципу повтора, теряют самобытность, вхолостую, считай, буксуют на месте.

– Ну, ты молоток: даже популярно объясняешь, – похвалил Николай.

– Я так понимаю, – не отставал и Никита, – что свобода в обществе – не прихоть чья-то; она не должна привносить в жизнь хаос и неуправляемость, стать словесной демократией.

– Да, вы заметьте, обычная вещь, что нормальный человек в душе костит себя направо и налево, если в чем-то надурил.

– Как водится у нас. Скорее дурь уходит...

– Но никакое правительство не признает себя виноватым в данное время, а говорит об ошибках прошлых лет.

– Костя, кончай, или я уйду!

– Сейчас, сейчас. Что касается культа личности. Ведь как для возвеличивания Сталина в свое время все делалось и оправдывалось официально, так ныне с таким же рвением уничтожается миф о нем. Мифом о Сталине погоняли народ.

– Подождите, и я скажу, – заторопилась Нина Павловна. – Почти анекдот... В суде нашем разбиралось одно простенькое дело. Нужный договор подписал тот человек, кто юридически не имел права его подписывать. Начались, как обычно, отнекивания, ссылки на кого-то еще, высказывались недоумения. Прокурор слушал, слушал препиравшихся, да и сказал всерьез: «Ну, что конь о четырех копытах может спотыкаться – это известно мне; но чтоб спотыкалась вся конюшня – этого не бывало».

– Как можете Вы, Нина Павловна! Фу! Не люблю Вас...

– А что, Иннушка... У некоторых молодых бывает такая романтика (по собственной дочери сужу): не люблю, и все; не хочу, да и только. А знаете, было, что Звездин, писал мне письма с фронта с такой припиской-концовкой: «Смерть фашистам и соседу Василию!» Василий некогда ухаживал за мной, да Звездин перебил... Тот погиб, а этот, Звездин, звездит иногда по пьяни... Бултыхается неисправимо... Не помочь ему...

Произошла какая-то затишка в разговоре.

Зато под звон бокалов, вилок и тарелок светлоликая Вика встрепенулась и лукаво прищурила близорукие глаза:

– А кто-нибудь из вас пойдет опять добровольцем?

– Куда? И зачем? – Николай был удивлен ее вопросом.

– Конечно же, в Египет... Поскольку, сами знаете, Суэц национализирован, и страны Запада напали на Египет, и все заговорили о добровольцах, как добровольничали когда-то в Испании – я слышала о знакомой методистке... Да и был там тоже Хэмингуей – любимый мой писатель...

– Ну, ему на поклонниц повезло, – проговорил Николай. – Испанские коммунисты уже пересмотрели свою позицию по отношению к диктатуре Франко и, предполагается, вскоре испанские беженцы вернутся домой... Близкий мне приятель собирает материал и пишет о тех событиях...

– Так кто же пойдет добровольно?.. – Не отстала Вика. – А Вы, Константин?

– Нет, увольте – я не пожарник, – сказал Костя. – Меня не меньше тревожит кавардак в Венгрии: я освобождал ее от гитлеровцев и хортистов. Мы – наше поколение – спокойны совестью; мы – павшие и живые – исполнили по совести первейший наш долг – защитили свое отечество, свой дом; пускай и все правдолюбцы также, не маясь, не злобствуя корысти ради, послужат народу своему, а не какой-то идеи фикс. Тогда мы и поговорим.

На него-то, говорившего, блеснул взглядом сосед Лиходеева (по столу) – уравновешенный мужчина-молчальник, но не сказал покамест ничего.

– А я, пожалуй, стал бы добровольцем, – признался Луцин, отчего Евгения Павловна аж охнула – от неожиданности его признания.

– Не пугайтесь: юноша блефует, – успокоил всех Махалов. – Он не сможет.

– Отчего же не смогу, маэстро? Ты не говори. Ведь я – бывший танкист!

– Тебя, Коля, авторы прежде сожрут. Есть у тебя пристанище – очаг, жена и двое детей. Или ты действительно избрал путь моралиста-обновленца?..

На это Луцин только улыбался широко, доверчиво, любя всех-всех.

IV

Нередко, когда хочешь что-то умалить разговором и забыть, случается совсем обратное: вот разговариваешь и чувствуешь, что в душе становится еще постыдней, беспокойней. Порой – из-за чего-нибудь пустяшного. Такое почувствовал и Махалов, только что все насытились и наговорились, и даже налюбезничались, и, соответственно, зауспокоились оттого, что вроде бы нужное дело сделано.

И опять он магнетически взглянул на молчаливого гостя, будто с пристыженным чувством за ребяческую в себе и прущуюся вон эйфорию перед наступающим новым духом времени – не ошибиться бы в том по наитию. Он потому пристальней взглянул на незнакомца, что от того исходило великое спокойствие и уверенность так же, как и от нового знакомого – высококорослого, плечистого Иконникова, морского капитана третьего ранга, военного проводчика английских кораблей в Мурманск. Иконников, как политический заключенный, отсидел (по навету недоброжелателя, которого знал) в колонии под Магаданом десять лет; он был ложно обвинен по трем смехотворным статьям – как то: связь с английской разведкой (при обыске у него нашли портсигар с гравировкой на английском языке – подарок от боевого английского капитана), попытка покушения на Сталина (кортик) и еще нечто подобное. О, слепая Фемида!

Недавно выпущенный из заключения, Иконников пришел за художественным заказом в издательство к Махалову, который боготворил таких стойких людей, более высоких, чем он сам, по духу.

Обстоятельный Залетов, номинальный глава дома, блаженствуя от малой радости и, не скрывая этого, со старенькой балалайкой в руках, как только столы сдвинули к стенке, начал натренировать вальс и славно вспоминать былое, и под звуки брэнчавших струн гости еще вальсировали и смеялись над собой. И пуще разошлись, когда Лиходеев, одержимый, видимо, манией вечно первенствовать во всем, стараясь прытью перещеголять и никчемную, по его понятию, молодежь, или показать всем пример, даже пустился в пляс. Великолепно. Подстать ему держалась и Вера Геннадьевна, шумливо-визгливая теперь, просто не знавшая: старая, замужняя она или нет, и стоит ли ей быть посдержанней, поприличней, когда так весело.

– О-о! Вспыхнула, как березовые веники! – Подначивал Игнат Игнатьевич ее во время пляски. – Ну, ты меня прибила сразу, что я сесть не могу теперь. Видишь, прибила к стенке...

Балалаечник, его шурин, уже не умевший так веселиться по старинке и берегший свое здоровье во всем, чтобы только подольше прожить на этом свете, лишь повторял со смехом:

– Ой, куда мы идем?! Куда только идем?! – И качал головой.

– Ах, мечта в полоску! – Сказала Инга вслух со вздохом, глядя на Аллу, жмущуюся к красавцу Володе.

– Я тебе объясняю: надо жить, а не досаждать другим! – выпалила вдруг Нина Павловна. – И захохотала звонко и красиво, но вполне дружелюбно, радуясь прежде всего своему нравственному здоровью и очередному избавлению от настырного мужа, а также от страха отставки после разгромной (очевидно, заказной) статьи, напечатанной в «Известиях» о том, что она оправдала якобы возможно преступного юношу.

И эти слова ее еще долго колебали воздух, звенели и отдавались в ушах Инги, как несправедливый ей приговор, именно ей, а никому другому.

Что, смиришь, смиришь, гордыня?!

И все расставилось по своим местам. Для Инги важней всего было узнать (и вздохнуть свободней), что ее несло куда-то слепое желание: по словам Луцина Стрелков – фик-фок на один бок – занят любимой женой и карьерой, он с Аллочкой даже не знаком; для Луцина главное было поговорить в кругу хороших собеседников, хотя и в этот раз он не успел высказать всего, что накопилось в его сейфе – голове: уйма идей; для Звездина – предстать перед всеми и собственной женой не конченным-таки дураком, а здравомыслящим супругом, готовым всегда к броску наверх из житейской траншеи; для Нины Павловны, как общественному, в первую очередь, лицу, – наконец покончить с таким его появлением, унижающим ее, но она пока не могла решить такое по-живому, хоть и могла судить в суде живых людей – других – на основании законов. Для Кости неудобством в компании представлялось присутствие жены: при ней он испытывал все же какую-то скованность и незащищенность. Как, наверное, та Настенька, вспомнил он, из корректорской, которой он, увидя ее давеча в милом сиреневом платье, позволил себе сказать так нелепо:

– Невестишься ты, что ли?

И теперь, сожалея и жалея ее, ругал себя за это.

Да, Настя, несмотря на свои двадцать восемь лет и то, что она уже имела шестилетнего сына, была совершенно по-девичьи молода, мила, проста, доверчива. Костя и она накоротке разговаривали друг с другом о чем-то обычном, остановившись перед аудиторией. Однако это, видно, было ей скучно, ненужно; она ждала чего-то другого, не пустяшного. Она странно – жалко и грустно провела раз и обратно взглядом по его глазам, каким раньше не смотрела, и испуганно отвела взгляд в сторону. И этот взыскующий ее взгляд сказал ему все: что она мучается, живя без любимого мужчины, и как бы проверяла себя – примеряла к нему, Косте, – и как он этого не понимает! Только он тут все ясно понял, и она неожиданно увидела то и потому замолчала тотчас. После этого он старался больше не говорить фальшь достойным собеседникам, чтобы не сожалеть потом.

Наутро Костя столкнулся в вестибюле Университета с Владимиром, которого немного узнал по его отцу – маститому биологу. Они любезно поздоровались, раскланялись друг перед другом. Почти заговорщически.

– Знаете, – смущенно заговорил тот, – никак не могу вспомнить лица голубенькой мадонны, с кем мы вечером щебетали и кого я потом провожал. То ли чуть перебрал на радостях, то ли не на то обращал внимание.

– Ой, Владимир, и я не могу ее представить себе сейчас, – признался Костя. – Что-то очень женственное... Ускользает ее образ... И была ли она вообще?..

– Ну, Вам-то, физиономисту, негоже не лицезреть красоту...

– Но не я же завлекал ее... Я лишь подглядывал...

И оба они толкнули друг друга в плечи и расхохотались.

– Есть и другие личики на примете. – Черт дернул Костю за язык.

– Да-а? Интересно... – При этом Владимир покосился на девушку-шатенку, красовавшуюся в газетном киоске.

И они разошлись по своим делам. Как уже хорошо, замечательно знакомые.

V

А днем наскоро заехал к Махалову в издательство измайловский дальнобойщик Жорка Бабенко, его боевой друг из бывшей Дунайской флотилии – атлетически сложенный мужчина, чертовски сильный, загорелый, густо говорящий, принципиально не снимающий с себя флотскую тельняшку. Да, он по-черному шоферил и теперь довез груз в Ленинград; этим и воспользовался для того, чтобы встретиться. Друзья радостно обнялись. За них порадовались тоже повоювавшие и все понимавшие Луцин и Кашин, и они вчетвером, гомоня, направились прямо в столовую – «Академичку» (что находилась рядом – у Менделеевской линии): Жора, как признался, дико проголодался в поездке. Зато он и взял себе на обед килограмм сарделек, кроме солянки, салата и картошки.

И вот, сидя за столом и разбираясь с едой, Жора и Костя говорили о том, кто из их товарищей где нынче здравствует и чем занимается, вспоминали и какие-то эпизоды, связанные со штурмом нашими частями Будапешта в январе 1945 года, когда Костя был ранен и госпитализирован.

На фронт Махалов ушел в 1942 году второкурсником Ленинградской специальной морской школы, проявив отменную настойчивость, – подавал прошение о том не раз; многие курсанты просились туда, но отпускали отсюда крайне редко. Он рвался туда, где мог схватиться в открытую с напавшим врагом: его звал долг чести; в начальных боях погиб его отец, комиссар, еще сумевший – раненый, лежа в повозке – вывести по компасу окруженных бойцов. В бло-

кадном Ленинграде осталась одна его мать, педагог, женщина тоже заслуженная, стоическая, несмотря на ее внешнюю неброскость – небольшой росточек, скромность, не шумливость.

А Жора начал фронтовой опыт с первого же дня немецкого нападения. Служил пехотинцем и матросом на судне и морским разведчиком. Исползал на животе, что говорится, все от Крыма до Новороссийска и обратно. И дальше. Оба его брата погибли. А что и отец пропал без вести, он узнал лишь в 1944 году, когда наши освободили изщербленный Измаил, и он нашел мать и сестру живыми.

Это Жора спасал Костю, коварно подстреленного власовцем в пролете здания Будапештского банка, – быстренько вытащил его из-под обстрела на улицу, за мраморную тумбу; здесь Костя лежал совершенно беспомощный – над ним цвикали пули, свистели осколки, куски щебня, пока Жора отстреливался и не подоспели товарищи – невообразимо долго.

– А ты, Жорка, помнишь, как вы ввалились в палату армейского госпиталя – ко мне? – Костя прожевал кусок сардельки. – Госпиталь помещался под Будапештом, в какой-то бездействующей тогда школе.

– То все при нашей памяти, друг, – сказал Жора, поглощая еду.

– Мне помнится еще: ты приворожил тем днем медсестру-толстушку. Фамилия ее была Индутная. Вы понавезли гостинец, угощений, вино...

– Надо же! И ты аж фамилию ее запомнил? Ну, мастак!

– Так она расписалась на моей груди.

– Что, доподлинно? – удивился уже Николай. – На гипсовой накладке на рану. И потому-то мне запомнилось ее имя.

Картина послеоперационных хлопот с ним в перевязочной Косте виделась зрительно сейчас даже отчетливей прежнего. Его гипсовали на деревянном помосте, возле горячей печи (у противоположной от окон стене). Рядом был столик с гипсовой массой, с бинтами, пропитанными ею, тут же – ведро с бинтами. Медсестра бинтует вокруг тела, захватывая грудь; последнее, что она делает, – выдавливает на сыром еще гипсе химическим карандашом: «ХППГ № 50. Гипс наложен 19 января. М/с Индутная». Эта штука была у него как раз на груди – он эту надпись читал, глядя в зеркало, когда был без тельняшки.

– А назавтра после гипсования, рано утром, – рассказывал Костя для всех, – я проснулся от близкого грохота. Глаза продрал и вижу – парень, мой сосед, стонавший непрерывно, сидит на нарах. Чумной. И только-только приходит в себя. И даже не стонет.

Оказалось, ему – он после признался – приснилось (и ему повиделось), что в палату вошел какой-то человек. Был тот в белом халате. И объявил о срочной эвакуации всех, так как ползут сюда фашистские танки. Причем и точно скомандовал: «Кто сам может идти, выходите вон живей!» И вот парень (он был ранен в левое бедро, и стянут гипсом по торсу как обручем) во сне нащупал правой рукой нож под матрацем, подцепил лезвием крепчайший гипс (режут-то его ножницами, когда снимают) и снизу вверх располосовал его. Разорвал его и выбросил на пол. И только тут он очнулся, когда обломки гипса грохнулись о пол; и он увидел, что сидит с кровоточащей раной на бедре, а тот человек-видение исчез. Вместо того возник перед ним настоящий дежурный врач – и был поражен. Врач осмотрел тело пациента – и на нем даже царапины от ножа не нашел! Какая же силища вышла наружу! Разом!..

И снова отправили бедолагу на гипсование.

Я еще расскажу, Жора, ты ешь, ешь... Был здесь достойнейший зрелый хирург. В минуты, если выдавалось полегче, он читал нам, раненым, поучительные лекции, чтобы подбодрить нас... Например, он говорил: «А сейчас я прочту вам лекцию о любви. Хотел поговорить с вами об остеомиелите... Но потом...» И он говорил нам, по сути, мальчишкам, без всякой похабщины, об отношениях между мужчиной и женщиной. «У вас, ребята, все будет! Нужно учиться любить друг друга...»

– Уважаю таких сподвижников душевных, – сказал, вздохнув, Николай. – И что дальше?

– Подожди, Коля, еще не все... Скажу: может быть, поэтому и атмосфера в палате держалась уважительная... Однажды какой-то обормот легкораненый, но скрипучий стал обругивать медперсонал – женщин, так все раненые сами дружно осадили его: «Да ты, гнида пузатая, что корчишь из себя? Ты видишь, как они здесь на коленях ползают перед тобой; все моют, вылизывают – покою не знают, а ты кочевряжишься... Выселим тебя!..»

Лежал тут еще один интересный еврей – матрос. Под Одессой его родные прятались от оккупантов, но тех выдал какой-то негодяй – их расстреляли немцы. Когда освободили Одессу, этот матрос выпросил у начальства три дня отпуска, приехал туда, на родину. Убедившись, что родных уже нет на свете, он застрелил негодяя и вернулся в свою часть на фронт. В бою он потерял обе ноги, но ночью в бреду забывал о том – и вскакивал. И был в ужасе от того, что на лице у него назрел пугающий чирей. Умолял всех: «Ой, не трогайте, только не выдавливайте! Я умру...» Лечащий врач подошел к нему. Со словами: «Ну разве можно это трогать? Никойм образом!» – И вдруг как нажал пальцем посильней – и сразу стержень нарыва выскочил.

– Тебя же оттуда увезла на лечение, как я помню, одна молоденькая докторица, – заметил Жора.

– Было, было, кстати, с вашей помощью. – Костя улыбнулся.

– А куда? – спросил Антон.

– В Морской стационар. На территорию Румынии.

– Расскажи-ка нам, маэстро, про это, – попросил Лушин, оживившись. – Все-таки романтика. Да и Жора, наверное, не все знает. Некогда было...

– У Жоры самого таких историй тьма, – сказал Костя. – Он скрытничает.

– Ничего похожего нет и в помине, – засмутился Жора. – Ты давай – рассказывай. Не мучай людей.

– Да мне жаль: видно, в сборе на отъезд тогда я и потерял редчайшие карманные часики. Спихватился, что их нет у меня, слишком поздно. Очень расстроился.

– Какие часики, Костя?

– Память. Мне их подарил в палате один пехотный лейтенант. Умирающий. Израненный шрапнелью. Лежавший почти рядом со мной. На нарах. К нему приезжали моряки с обожанием и преподнесли ему старинные часы – черные, с цепочкой и с чугунными крыльшками. Так вот он, когда принесли нам завтрак, приподнялся чуть с усилием на локте, и спросил у меня, действительно ли я моряк. На мне же была натянута тельняшка. Я назвался чернофлотцем, рулевым. Что ему точно понравилось. Сунул он в руки лежащих ребят – для передачи мне – эти часики, подаренные ему: «возьми, друг, на память. Теперь пусть тебе они послужат... Хочу объяснить, служивые... Я преклоняюсь перед моряками, люблю их за верность. Со мной же, еще юнцом, в Одессе это приключилось: попал я в потасовку с уличной шпаной; та набросилась на боцмана, который защитил от них бабульку с трешкой. Я мимо проходил. Боцман только крикнул мне: «хлопчик, помоги! Спину мне прикрой!» Ну и заскочил я за него. Забронился кулачками по-боксерски малость, да куда хиленок был; прикрывал его, скажу по-честному, не спасительней бумаги папиросной. Истинно. Но за минуту-две боцман раскидал прочь бандюг. Я же по-геройски угодил в медпункт – потерял сознание: меня крепко огрели чем-то по голове. А назавтра в больницу ко мне явилась во всей красе полдюжина военных моряков! С цветами и конфетами... С этого-то, други мои, и заладилось их шефство коллективное надо мной, подопечным; они-то уж не забывали обо мне, если мы брели-ходили близ друг друга по одной широте...»

Костя, так рассказывая, привздохнул:

– И как я потом забыл тот подарок офицерский? Очень сожалею.

– Небось, загляделся на докторшу... – Сказал Жора.

– Ты, Костя, знаешь: твоя забывчивость иногда возникала в такой степени, что и собственное имя забывал, не то, что фамилию, – перебил его Николай.

– Представляю, Коля: у тебя, танкиста, такого не могло быть, – заторопился, чтобы успеть высказаться Малахов. – Мы, матросня и солдатня, всегда молились на вас, танкистов-героев, восхищались вами. Ты в открытую освобождал от гитлеровцев города. Танком управлял... Сидел в нем, как в самой наковальне – ведь по броне вражью снаряды долбили... Ты – сильный духом человек.

– Сильный... а бессилён на миру... в словопрениях...

– Бывает... Только что меня просила соседка урезонить другую – бабушку-татарку и ее внука Федора устыдить... Парню – двадцать восемь лет. Уже старше нас, отвоевавших тогда юнцов. И теперь мне-то нужно устыдить этого Федора. «Ой, – сознался я перед ней, – я и на своего фараона повлиять не могу».

– Ну и ну!

– Внук Федор рос у бабки без отца и без матери. И она очень жалела его. А он, пользуясь этим, выманивал у нее всю ее скромную пенсию. Он работал в театре осветителем, получал рублей сорок. Мечтал устроиться певцом. И бабке говорил, что не поступил пока в консерваторию только потому, что накануне не выпил трех сырых яичек – их ему не на что было купить. И она верила во все его бредни – и ссужала его рублями. Разумеется, без возврата.

– Аллах! Греха нет! Грех вам будет! – Слышались в квартире привычные бабушкины причитания.

Это она заклинала двух своих взрослых дочерей, пришедших к ней с проверкой, чтобы те замолчали, не хулили племянника. Они приходили к ней с видом просящих (чтобы так узнать, отдала ли она в тот месяц свою пенсию). А он нарочно выбирал время и выпрашивал у нее рубли до прихода тетей. Она говорила им:

– Нет денег. Человек занял. Человек отдаст.

– Когда же?

– Три дня уже. Три дня говорил. Через три дня будет.

– Мы знаем, что это за человек? Федор?

– Ай, Аллах! Греха нет! – Начинала она причитать.

– Ну, ладно уж! – Прервал его Жора, – ты лучше расскажи про молоденькую докторицу. Небось, был молод, шибко влюбчив – кровь в тебе играла...

– Постой! Зачем «был»? – возразил с горячностью Костя. – Не-е, мне тут не светило ничегошеньки... Я боготворил... Поверь...

– Ну-ну, молчу, мил-другок. Молчу.

VI

И сказанное Махаловым было верно пожалуй. Тогда.

– А где же мой матросик? – живо воскликнула влетевшая в госпитальную палату, как увидал Махалов, белокурая капитан медицинской службы. С морозца она, ладная собой и, видно, уверенная в себе молодая женщина, придерживая пальцами шинель, лишь накиннутую на плечи, в берете и щегольских хромовых сапожках с желтыми отворотами, стала в помещении и разом оглядела ряды нар с ранеными. Это несомненно заинтриговало беспомощных бойцов, оживило их; все зашевелились, нетерпеливо заскрипели на досках, зашумели-забормотали.

Должно быть, время настало такое, считал Махалов, что все девушки, которых он видел, казались ему наикрасивейшими, как на подбор, – глаза разбегались...

– Слышь, Костик, ведь тебя краса ищет, – сообразил его сосед. – Ну, завидую, ты глянь: тебе чудно повезло по женской части. Вот счастличик!

Вошедшая дива уже взглянула прямо на лежащего Махалова, у которого поверх наложенного на грудь и руку гипса была натянута тельняшка – грех не заметить ее, и, подойдя к нему поближе, ласково осведомилась:

– Матрос Махалов? Капитан Никишина.

– Точно так: морской разведчик, – уточнил он будто с некоторой претензией к ее недогадливости, приподнимаясь на логте и непочтительно глядя в упор своими густыми зеленоватыми глазами на нежный светлый лик, возникший перед ним точно из небыли. В иных – лучших – обстоятельствах ему, фронтовику, полагалось бы вытянуться в струнку перед старшей по званию особой, и он бы с радостью это сделал по своей галантности и обожанию; только теперь он, и рыцарь в душе, был прикован к постели и мог лишь проявить свое остроумие.

– Я заберу тебя отсюда, ладно? – И Никишина слегка порозовела от смущения перед его упорным взглядом.

– С Вами хоть куда! – Он, осмелев, даже не спрашивал, куда.

– Капитан, помилуйте!.. – проворчал поспешивший сюда хирург – майор, в белом халате, выбритый, строгий и вместе с тем доброжелательный. – И здравствуйте... Чем обязаны Вам? – И естественно – просто подал ей руку.

– Здравствуйте! Никишина. – Улыбнулась капитан. – Двух наших моряков увожу в морской стационар. Вот распоряжение...

– Чье распоряжение, товарищ капитан? – несдержанно спросил Махалов.

– По приказу командующего мы приехали сюда.

– С тебя причитается приятель, – заявил опять сосед-говорун. – Вишь, не хотят, чтобы ты потерялся среди нас, пехотной братвы... Чуешь?..

И Косте было лестно знать, что это наверняка постарались его друзья из разведотряда, навестившие его здесь на-днях, – попросту могли они послать донесение в штаб флотилии, и оно-то попало к командующему...

Так Махалов вместе с другим, незнакомым ему, матросом Гусевым, раненным в правую руку и бедро, оказались в санитарной автомашине на подвешенных к стенкам носилках.

Они припозднились с выездом, прифронтовая зимняя дорога была разбита; потому Махалов предложил Никишиной захватить по пути в его разведотряд, на окраину Пешта, и заночевать там в безопасности, и она мило согласилась.

В отряде их встретили всемогущие, обходительные друзья, ходящие, как бывалые краснофлотцы, вразвалочку; мигом они внесли раненых в ротное помещение, накормили, побрили и заодно заушаживали за Никишиной, коли она позволяла им это и доверчиво обращалась к ним. Ведь все ребята были сумасшедши молоды, жили одним ожиданием-приближением Победы, собой не дорожили, не хоронились, потому были задушевные, веселы. За милую женскую улыбку могли все отдать, нисколько не раздумывая. Подшучивали над Махаловым:

– А ты и в лазарете не пропал! Вон какую королеву отхватил. Не горюй!

И едва появился в помещении их командир-красавец капитан Карев, всем им стало ясно, что они могли быть лишь на заднем плане в сердце этой случайно залетевшей сюда прекрасной дивы.

Однако и тотчас Косте странно подумалось: «Да что я, пижон, расфуфырился, как тетерев на току. Уж если она, видно было, не клюнула и на Карева, сущего небожителя, то действительно у нее кто-то уже есть, она занята кем-то: она больно хороша для того, чтобы быть одной и пропадать так». И он заговаривал себя успокоиться по этому поводу, как в очевидном каком-то проигрыше.

Наутро, когда жесткий ветер задувал сухую морозную пыль, нес бумажные обрывки, трепал брезентовые верхи разбитых немецких грузовиков, оборванные карнизы домов, они выехали из Будапешта к югу, помчались вдоль западного берега Дуная. Мелькали постройки, пирамидальные тополя, пристани, баржи, затопленные корабли, лодочки; участились пово-

роты, объезды, толчки. А южнее, возле города Дунафельдвар, стали попадаться и следы недавних жарких боев: обгорелые дома, деревья, поверженные танки, опрокинутые орудия, тягачи, прицепы, свежие воронки.

Именно сюда недавно и ударили последний раз из-за озера Балатон немецкие части, только что переброшенные из Италии – 12 танковых и 2 моторизованные дивизии – такой бронированный кулак. Немцы снова захватили временно Секешфехервар с нефтяными промыслами. Хмель воинственности ударил им в головы. Из окон захваченных наших эвакуогоспиталей они выкидывали раненных, перебинтованных, беспомощных бойцов под гусеницы своих танков, позволяя себе подобное живодерство, какое линейные немецкие солдаты, воевавшие на восточном фронте, уже боялись делать. Это не может быть прощено никогда. Сколько бы западники ни гундосили об извечности их образцового гуманизма, такого, какого ни у кого больше нет.

Справа от шоссе и сейчас слышались звуки канонады и сотрясался воздух. Шоссе то отдалялось от Дуная, то вновь приближалось к нему.

Мучала жажда раненных Костю и Ивана. Они пили компот из жестяных банок, которые ловко вскрывал шофер ножом, а Никишина подавала их им, и подремывали, укачиваемые ездой, тарактением автомашины и фронтовым погромыхиваньем.

Сколько ехали по венгерской территории, примерно столько же, если не больше, проехали и по югославской – более трехсот километров – через Нови-Сад, прежде чем въехали в Белград, освобожденный ровно три месяца назад, 20 октября 1944 года, совместно югославской и советской армиями. Речные мосты были взорваны, и нужно было ждать переправу через приток Дуная, чтобы попасть восточнее – в Морской стационар, расположившийся в городке Турну-Северине (Румыния).

Поэтому раненных матросов определили пока в югославский армейский госпиталь, занимавший большое угловое здание на проспекте, на носилках подняли на третий этаж.

VII

Медицинский госпитальный персонал вмиг узнал о поступивших сюда русских матросах – первых раненых при штурме Будапешта – оплота хортистов и салашистов, объявивших тоже Югославии войну в 1941 году – вслед за нападением на нее немецких войск и особенно зверствовавших напоследок в городе Нови-Саде. И эта весть, очевидно, быстро распространилась по Белграду.

В отдельной двухместной палате с отдельной ванной, с крашеными в ровный спокойный бежевый цвет стенами без панелей, Махалова положили на кровать к окну, откуда видны были лишь красные крыши и городские трущобы, а Гусева, более неподвижного, – ближе к выходу. И лежать здесь после утомительной дороги было приятно. Никто их не беспокоил. Если сюда направлялся врач, то он прежде, чем войти, вежливо стучал в дверь.

Но минуло немного времени, как вновь постучались к ним и голос приходившего уже врача сказал из-за двери, что пришел гость...

– Пусть войдет! – выкрикнул обрадованный Костя.

В комнату вошел пожилой серб. Неважно говорящий по-русски, но понятно, он, расклавшись, представился председателем спортивного клуба и коммерсантом; причем он говорил как бы с грузинским акцентом, отчего его слова было легче разбирать, чем слова югославов, говорящих как бы по-украински. Следом за вошедшим внесли в палату громадную корзину с подарками – тем, чем он торгует; в ней – ветчина, вино, сыр, штук пятьдесят пирожных и другие яства. И, прикладывая руку к сердцу, серб стал умолять русских братушек отведать хоть кусочек чего-нибудь сейчас при нем. Он был бы очень рад.

Он сказал, что его сына, скрипача, партизана, убили немцы. В числе многих-многих сербов. А русский язык немного знает потому, что двадцать лет назад был в России и любит русских людей. От спортивного же клуба играл в футбол, где-то видел футболистов московского «Спартака». Начались околофутбольные воспоминания. Костя, усадивший гостя на край своей постели (стульев в палате не было), признался, что он и сам с ребятами доупаду гонял мяч, а болел за ленинградские футбольные команды, и это еще больше возвысило моряков в глазах югослава.

Серб налил им вина в принесенные с собой рюмки, поднес каждому. Со словами, что они настоящие герои. В Белграде отчаянно дрались с немцами советские матросы с бронекатеров. Он видел это.

– А-а! Это морская пехота нашей Дунайской флотилии, – сказал Костя. И попросил серба вместе выпить за его погибшего сына, за освобождение Югославии. Он сидел так трогательно и заглядывал русским ребятам в глаза, как сыновьям своим. А когда выпили и еще, рассказы с обеих сторон посыпались сами собой. И только звучало «Хвала лепа!» – югославское «Спасибо!» Они благодарили серба за его угощение, за такое сердечное отношение к русским; он благодарил их за то, что они, герои, помогают всем народам избавиться от фашистов.

Матросов тут посетил главный хирург госпиталя – высокий добродушный мужчина, облаченный в непривычный красный резиновый фартук, и двое врачей, бывших в армейской югославской форме. Убедившись в хорошем самочувствии раненых, не нуждавшихся ни в чем, хирург с улыбкой оповестил их приходом к ним новой делегации. Принимайте!

Костя пытался даже встать, да врачи не позволили ему это сделать. Они сразу же ушли. Вместе с растроганным коммерсантом, смахивавшим слезы, говорившим, что он будто вновь встретился с сыночком своим.

И вот палата словно расцвела: сюда вплыли восемь очаровательных девушек! И каково-то было лежачим матросам: Костя был сверху прихвачен – рука и бок забинтованы и в гипсе, так что не привстать без посторонней помощи; а Иван вообще лежал плашмя колодой – снизу вверх все его тело замуровано гипсом. Вплывшие к ним югославки, видимо, не знали, как обращаться с ранеными русскими парнями, и в начале, поздоровавшись, растерянно постояли над кроватями. Потом спрашивали, хотят ли они пить воду. Костя засмеялся: после-то вина?.. Помотал головой понятиливо. И, спохватившись, пригласил жестаи – показал на края кроватей, сдвинулся к стене:

– Да вы, девушки садитесь, пожалуйста, сюда! Пожалуйста! И туда, к Ивану... Иван, подвинься малость!.. – Тот проростонал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.